

ИСТОРИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ АКАДЕМИИ НАУК СССР

ПИСЬМА
А. Н. КАРАМЗИНА
1847 — 1848

МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ
ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1848

ПО ДОКУМЕНТАМ
КРЫМСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
АРХИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
ЛЕНИНГРАД • 1935 • МОСКВА.

Отдельный оттиск
из „Исторического сборника“ № 3

Технический редактор *А. Д. Покровский*

Ученый корректор *Е. М. Мазыко*

Обложка работы *К. Л. Иванова*

Подписано к печати 25 января 1935 г.

52 стр.

Формат бум. 62 × 94. см. — 3¹/₄ печ. л. — 38230 тип. зн. в л. — Тираж 3175

Ленгортит № 1509. — АНИ — № 686. — Заказ № 989.

Типография Академии Наук СССР. В. О., 9 линия, 12.

Е. В. ПЕТУХОВ

ПИСЬМА А. Н. КАРАМЗИНА 1847—1848 гг.

Предлагаемые здесь письма Андрея Карамзина и отчасти его жены к матери первого Екатерине Андреевне Карамзиной, вдове историографа, относящиеся к эпохе 1837—1848 гг., представляют собою значительный исторический интерес — не только по имени автора и имени адресата, друга Пушкина и руководительницы одного из самых известных консервативных „салонов“ в Петербурге середины прошлого века, но и по своему содержанию, и по времени их написания в годы острой революционной борьбы на западноевропейском континенте, и по той общественной обстановке, в которой жили и действовали как сам автор писем, так и те, к кому были эти письма направлены и кем они читались.

Андрей Николаевич Карамзин, старший сын историографа, родился 24 октября 1814 г.; мать его, вторая жена Н. М. Карамзина, Екатерина Андреевна Кольванова, была внебрачной дочерью князя Андрея Ивановича Вяземского от его связи с Елизаветой Карловной Сиверс, воспитывалась у родной тетки отца, княгини Е. А. Оболенской, рожденной княжны Вяземской; вышла замуж за историографа 8 января 1804 г. Андрей Карамзин, по получении домашнего обучения, учился в Дерптском университете, после окончания курса в котором поступил на военную службу в одну из артиллерийских частей в Петербурге. В 1840-х годах служил в действующей армии на Кавказе; в 1840 г. женился на вдове известного богача П. Н. Демидова Авроре Карловне Демидовой, урожденной баронессе Шернваль, и вскоре после свадьбы предпринял с женой и пасынком восьми лет путешествие в Западную Европу частью по служебному отпуску (служил по корпусу жандармов), частью для лечения от ран, полученных на Кавказе. Это пребывание Карамзиных за границей сосредоточилось на этот раз в Париже, куда они приехали 4/16 октября 1847 г. и где их захватили события

февраля и марта 1848 г. Революция, принявшая европейский характер, изменила первоначальные более широкие планы путешествия, и Карамзины весной 1848 г. вернулись в Петербург, выехав из Парижа 3/15 апреля. Здесь они зажили веселой и разнообразной жизнью совершенно независимых в материальном смысле людей, вращаясь в „избранных“ кругах столичной титулованной и служилой знати. В 1854 г. возгорелась русско-турецкая война. Бывший в отставке Андрей Карамзин, увлекаемый „патриотическим“ настроением дворянства, „бросил по словам его родственника В. П. Мещерского — свою богатую и счастливую жизнь в Демидовском палатце, где он жил со своей женой, вдовой Демидова, и с молодым его сыном, и поступил снова на военную службу в действующую армию“.¹ Здесь его ожидала быстро наступившая смерть: 16 мая 1854 г. он был убит в стычке с турецким отрядом в Валахии;² тело его было перевезено в Петербург и погребено в Новодевичьем монастыре в церкви, построенной вдовой на его могиле.

Андрей Карамзин принадлежал к тем путешественникам, которые любят описывать свои впечатления в письмах к близким людям. Тут, без сомнения, сказалась семейная традиция, шедшая от знаменитого автора „Писем русского путешественника“; недаром сестра Андрея Карамзина, Екатерина Николаевна, в одном из семейных писем, еще от 2 мая 1837 г., когда молодой А. Н. Карамзин впервые путешествовал за границей, писала: „брат Андрей... как живо наслаждается он своим путешествием и как часто письма его поражают нас сходством мыслей и чувств с папенькиными. Он, конечно, всех более похож на него душою и умом; к тому же имеет счастливый, веселый характер“.³

Путевые письма Андрея Карамзина к матери отчасти уже известны в печати, — именно писанные из Франции и Италии в 1836—1837 гг., а также письма с Кавказа в 1844 г. Они напечатаны были в сборнике „Старина и Новизна“, кн. 17, 19 и 20 (СПб., 1914—1916). Особенно интересны заграничные письма; в них он сообщает и о своих русских встречах (напр. с Гоголем в Париже и в Риме), но преимущественно о встречах с иностран-

¹ Кн. В. П. Мещерский. Мои воспоминания, ч. I, СПб., 1897, стр. 22.

² Там же, стр. 26.

³ Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866, стр. 440.

цами. Здесь, в 30-е годы в Париже Андрей Карамзин приобрел ряд тех знакомств во французской столице, о которых он не раз упоминает и в письмах, теперь впервые предлагаемых вниманию читателя, например Рекамье, Шатобриан, австрийский посол Аппони и др.; он был даже представлен королю Луи-Филиппу. Из русских имен тут мелькают: Долгорукие, Трубецкие, Медемы, Соллогуб, Хитрово, Палены, А. О. Смирнова и др., о которых отчасти говорится и в письмах 1847—1848 гг.

Это аристократическое и чиновное окружение, чрезвычайно обогащенное новыми именами из парижской жизни (Юсуповы, Закревские, Нарышкины, Воронцовы, Кочубей, Киселевы, Витгенштейны и мн. др., а из французов — Гизо, Тьер, Ротшильды), всецело объясняется, с одной стороны, семейными связями Карамзиных и их титулованных родственников Вяземских и Мещерских, а с другой — богатством и родственными отношениями жены Карамзина Авроры Демидовой: достаточно тут указать, что дядя ее Анатолий Николаевич Демидов был женат на принцессе Матильде Бонапарт, племяннице Наполеона I, дочери Жерома Бонапарта, бывшего короля Вестфалии; о ней не раз упоминается в письмах Андрея Карамзина в 1848 г. из Парижа. При этих обстоятельствах является вполне понятным, что Карамзины, живя весной 1848 г. в Париже, были совершенно изолированы от представителей прогрессивных кругов русского дворянского общества в этом центре тогдашнего европейского революционного движения: им совершенно не известны или, по крайней мере, нигде не упоминаются в письмах имена П. В. Анненкова, Н. А. Сазонова, М. А. Бакунина; нет даже самых отдаленных намеков на Герцена, Тургенева, Кудрявцева, Фролова, что, впрочем, находит себе объяснение не в одной только родственно-социальной изоляции, но и в несочувствии консерватора Карамзина либеральным течениям тогдашней русской общественности.

Хотя письма Андрея Карамзина обращены к матери, но адресатами их являлись все члены довольно многочисленной семьи Карамзиных — Вяземских — Мещерских и прежде всего — братья и сестры автора, который иногда упоминает и об ответных письмах к нему, до нас однако же не дошедших.

Письма Авроры Карамзиной являются в серии писем ее мужа случайностью: она писала только тогда, когда ее мужу писать

было некогда, или приписывала к его письмам несколько строчек от себя.

Письма А. Н. Карамзина, предлагаемые ниже, взяты из длинного ряда писем его к матери за 40-е годы. Строго говоря, они заслуживали бы полного опубликования не в меньшей, а даже в большей степени, чем напечатанные уже письма его в „Старине и Новизне“ от 30-х годов 19 века, но в данном случае нас интересовали исключительно сообщения Карамзина из Парижа о событиях революции во Франции 1848 г. Оригиналы этих писем, на французском языке, сохранились в неполном виде в составе поступивших в 1928 г. в Крымское Центральное Архивное Управление отдельных частей домашнего архива Клейнмихелей из Кореиза (на южном берегу Крыма), также связанных родственными отношениями с Карамзинными через Мещерских. Предлагаемые в русском переводе письма эти, выбранные из их общей массы, даны большей частью без пропусков и лишь отчасти в выборках наиболее интересных в историческом отношении мест; совершенно в стороне остались письма, лишенные сколько-нибудь актуального интереса в смысле историко-революционном.

Историческая ценность публикуемых ныне писем А. Н. Карамзина определяется главным образом тем обстоятельством, что они говорят о событиях революции во Франции и, в частности, в Париже за февраль и отчасти за март месяцы 1848 г.

Описывая дни и события в Париже, предшествовавшие февральской революции, а равно и самые революционные дни конца февраля и марта 1848 г., А. Н. Карамзин смотрит на эти события и изображает их исключительно как сторонний наблюдатель-иностранец. Он оправдывает свой интерес к этим явлениям своей просвещенной „любопытностью“ и главным образом тем, как эти события отзовутся на настроении правящих кругов в России: „Я нахожусь в самом точном курсе всех происходящих событий; они меня интересуют так, как если бы дело касалось лично меня или моего отечества... Неужели мы можем остаться равнодушными при виде борьбы, в которой сосредоточиваются и истощаются все интеллектуальные силы, все великие страсти избранных людей этой страны, наших ближних? и это только потому, что они спорят о своих делах, а не о наших? Но тогда закроем книгу истории... Нет, нет! откроем ее, станем изучать прошлое, наблюдать настоящее

и скажем словами Сенеки: я человек, и ничто человеческое мне не чуждо“ (письмо от 31 янв./12 февр. 1848 г.). Эти слова только немногим отличаются от того спокойного, равнодушного любопытства, с которым смотрел отец автора, Н. М. Карамзин, бывший в Париже в годы Великой французской революции, на тогдашние революционные события.¹ Что касается исторического объяснения событий революции 1848 г., то они даются лишь с той точки зрения русского помещика, служилого человека и члена аристократического круга, узкий кругозор которого единственно был ему доступен; „по моему убеждению, буря подготовлялась в течение ряда лет и должна была рано или поздно разразиться. Что делало для меня опасность положения еще более ощутительной — так это полная беспечность всех людей, имевших власть, и большинство; с которым я был в ежедневном общении, не только отрицало опасность, но и было убеждено, что страхи и опасения „ясновидцев“ были воображаемые. Рекомендую вам прочесть мое письмо к Аркадию (до нас не дошедшее), в котором я говорю, что не в Палате депутатов, а на улице будет решена судьба Франции, а также вспомнить то, что я писал вам в прошлое воскресенье о манифестации или мятеже или даже о революции“ (письмо от 16/28 февр. 1848). И только. Дальше этого „анализ“ причин революционного движения, охватившего тогда почти все западноевропейские страны, у А. Н. Карамзина нейдет. Его интерес к этим событиям суживается до пределов исключительно русских или, вернее, придворных и салонно-петербургских: „В настоящее время меня занимает и интересует более всего то, какое впечатление события в Париже произвели в Петербурге, именно — как император принял эту новость? каковы были первые его слова по этому поводу? что думают делать? что говорят в свете? что говорят в городе?“ (письмо от 23 февр./6 марта 1848 г.).

В письмах А. Карамзина, конечно, нельзя искать ни объяснения причин, ни даже сколько-нибудь отчетливого понимания социальной сущности событий конца февраля '48 г.; трудно даже предположить, чтобы его ограниченную точку зрения могли осветить события июньских дней 48 г., новый взрыв

¹ Письма русского путешественника, от апреля и июня 1790 г. Сочинения Н. М. Карамзина, изд. 4, 1834, т. IV, стр. 110—113; т. V, стр. 100.

революционного энтузиазма парижского пролетариата и победа генерала Кавеньяка, действовавшего в угоду и по поручению буржуазии; этих событий А. Карамзин не наблюдал и в своих письмах их не касается. Сам А. Карамзин, в своих описаниях, был отголоском правящих кругов французского капитала и буржуазии, и главным образом их верхушек, и в душе был сторонником монархического принципа, несмотря на некоторый оттенок политического либерализма, который кое-где сквозит в его письмах. Он совершенно не понимал настоящей предательской роли „временного правительства“ 24 февраля 48 г., и революция эта представлялась ему лишь как угроза тому традиционному монархическому принципу в Европе и особенно в России, которому он служил как помещик, аристократ и жандарм. Таким образом, современному читателю нечему поучиться из этих писем для понимания великих событий в Европе середины 19 века. И тем не менее, письма эти имеют большой исторический интерес — не по объяснению и пониманию событий, а по их фактическому изложению с большими и нередко интимными подробностями, которые черпал он не только из личных наблюдений на улице, в Палате депутатов и в Жокей-клубе, но и в гостиных Тьера или Рекамье, во встречах с Гизо и Шатобрианом, на обедах у Ротшильда, в разговорах с чиновницей и военной знатью Парижа. В этом смысле письма А. Н. Карамзина являются ценным дополнением к известным донесениям Я. Н. Толстого шефу жандармов и начальнику III отделения графу А. Ф. Орлову, черпавшего свои сведения, не считая собственных наблюдений, преимущественно из официальных или литературных источников;¹ это сопоставление является тем более интересным, что некоторые письма А. Н. Карамзина писаны в те же самые дни, как и донесения Я. Н. Толстого, именно № 1 Толстого и № VIII по нашему изданию у Карамзина от 12/24 февраля; № 2 Т. и № IX К. от 13/25 февраля; № 3 Т. и № X К. от 14/26 февраля; № 5 Т. и № XI К. от 16/28 февраля; № 6 Т. и № XII К. от 17/29 февраля; № 10 Т. и № XV К. от 9/21 марта.

В приложении к настоящему изданию мы даем письмо к А. Н. Карамзину от его французского знакомого Ж. Лагрень

¹ Центрархив. Революция 1848 г. во Франции. Донесения Я. Толстого. Под ред. и с иред. Г. Зайделя и С. Красного. Ленинград, 1925.

(J. Lagrenée), военного и члена Жокей-клуба, с которым он познакомился в Бадене. Это письмо, конечно, также писанное в оригинале по-французски, датировано 5 июля 1848 г. из Франции, когда сам Карамзин был уже в Петербурге; оно является как бы продолжением и завершением писем Карамзина и по фактам, и по тону, и по настроению, строго легитимистический характер которых хорошо гармонирует с аристократическим консерватизмом самого А. Н. Карамзина и его ближайшего окружения.

Реальный комментарий к публикуемым письмам, по огромному количеству упоминаемых лиц и событий, оказался бы чрезмерно велик. Ему место — в отдельном полном издании всего текста.

Русский перевод

I

(Отрывок)

[№ 30¹]

Париж, 4/16 ноября 1847

Я познакомился с Мериме. Этот писатель, столь высоко оцененный Пушкиным, произвел на нас впечатление человека очень приятного и мало похожего на француза по обращению и манерам.

II

(Отрывок)

[№ 36]

Париж, 10/22 декабря 1847

Беседа интересная и оживленная (на вечере у m-me de Voigne, благодаря в особенности Мериме, который говорил одинаково хорошо о „Pierre le Cruel“ — историю которого он пишет для „Revue des Deux Mondes“), о колдовстве и магии, которыми он будто бы занимается с успехом, и о цыганах; языком которых он владеет и с любовью изучает вопросы об их происхождении и таинственной судьбе.

Париж, 11/23 декабря 1847

(Продолжение того же письма)

Вчера вечером мы были на музыкальном собрании, очень избранном, у m-me de Voigne. M-elle Alboni пела, и все

¹ По общей нумерации писем в оригинале.

настоящие знаменитости политического и литературного мира толпились в этих миленьких гостиных. Я хочу дать вам небольшой их перечень, имея в виду дорогую Катерину, которая так их любит. Тут были в части политической Гизо, Дюшатель, Дюмон, Моле, Кузен, Ремюза, Паскье, Деказ и др., а из числа литераторов — Мериме, Бриссо, Минье, Мармье, Виель-Кастель (Луи), Сен-При, с которым я познакомился и который имеет вид более старый, чем его отец; я видел еще Казимира Перье и, к моему большому удовольствию, Деларю, большого ловкача по африканским делам, с которым я долго разговаривал — Шамиль и Абдель-Кадер, черкесы и бедуины, Дагестан и Кабилия. Среди дам Аврора была, без всякого сомнения, красивее всех, но этим еще не так много сказано, потому что там не было ни одной настоящей красавицы, исключая, может быть, m-me Одье и затем, значительно позади ее, m-me Пажье, племянница канцлера, m-me д'Оссонвиль, дочь герцога де-Брольи и m-me de Foix или Fou, которая по наружности напоминает m-me Смирнову и m-me Тютчеву.

III

(Отрывок)

[№ 39]

Париж, 3/15 января 1848

Весь Париж занят спорами по поводу адреса „Палате пэров“ и их необыкновенной горячностью. В понедельник мы имели случай видеть m-me de Voigne, фанатически консервативно настроенную и возбужденную ужасами, сказанными с трибуны г-дами д'Альтон-Ше и Буасси. Вы, конечно, понимаете, что этого возбуждения я не разделял, когда г. д'Альтон-Ше заявляет, что он не католик, не христианин вообще, — он только имеет смелость признать то, о чем другие умалчивают: ведь делать зло хуже, чем говорить, а те лицемеры, которые его прерывали, забыли без сомнения, что они принимали за короля человека, который никогда не выполнил ни одной своей обязанности в отношении религии. Что касается г. де-Буасси (этого сумасшедшего злючки, как выразился о нем Гизо Авроре), который считает министров ворами и обвиняет их в коррупции, то это обвинение не ново, и „честь скандала“ принадлежит г. Геберу, возымевшему несчастную мысль прочесть с трибуны письмо, не предназначенное к публичности; во время чтения маленький Буасси прямо сиял и после заседания подошел к Геберу, чтобы поблагодарить его за опубликование его письма, которое благодаря ему обойдет теперь Францию и весь свет. Вечером в этот день я его видел у m-me Mathilde в очень радостном, вызывающем настроении, с видом человека, восхищенного тем, что он сделал. Его жена — маленького роста и очень крепкая; из своей былой красоты она сохранила только чудесные

плечи, замечательную белизну кожи и роскошные кудри яркого светлого оттенка. В среду я пытался присутствовать на заседании Палаты Депутатов, но не имел возможности воспользоваться имевшимся в моем распоряжении билетом, так как места для публики все были уже заняты и я вознаграждал себя за это тем, что был на утреннем приеме у m-те Рекамье, где были Шатобриан, Ампер, Кергорлей и другие. M-те Рекамье была по отношению ко мне не только любезна, но и в высшей степени сердечна, что меня в ней чрезвычайно трогает, ведь она в течение своей долгой светской карьеры видела к себе столько поклонения. В то время, как я был у нее, ее посетил знаменитый окулист, который сообщил не совсем благоприятное заключение об ее глазе, подвергавшемся операции: глаз совершенно ясен, и тем не менее она им не видит, что указывает на паралич глазного нерва. Сначала мы были одни и, говоря о своей слепоте, о смерти Ballanche, о болезнях Шатобриана, она сказала: „вот грустный конец моего существования“. В четверг, уже пораньше, мы отправились с Авророй в Палату Депутатов, но попали настолько неудачно, как вы можете видеть из газет, что я потерял к этому всякую охоту, и это лишило меня случая послушать вчерашнюю речь Монталамбера; я очень сожалею об этом, так как мне хотелось наблюдать всех этих старцев, вставших в юность, если не в детство, при звуках страстного красноречия этого ультра-монтана. Для защиты своих друзей, г. Монталамбер отчасти воспользовался их собственным оружием: он немножко поклеветал на этих бедных швейцарских радикалов, которые в конце концов вовсе не так ужасны, как он их изображает: ведь они еще никого не присудили к наказанию после своей победы, между тем как бывшее правительство Люцерна произнесло две тысячи политических приговоров после поражения партизан, но в конце концов эта смелая атака является хорошим ответом ораторам новой Палаты Депутатов. В четверг мы были на большом обеде у Ротшильдов. За столом были: послы Австрии, Англии и королевства Сардинии с их супругами, гг. Гизо, Коллоредо, Радовиц, прусский посланник, супруги Монтебелло, супруги Габриель, Делессер (префект полиции), Кочубей и мы. Соседями у меня были княгиня Basile и префект полиции; я много разговаривал с этим последним, что не помешало мне воздать честь обеде и превосходным винам — то и другое вовсе не по-еврейски. Сервировка (по-французски, т. е. все блюда поставлены на столе) была великолепна, посуда очень богатая, роскошные цветы, многочисленный и прекрасно одетый персонал прислуги. Аврора шла с г. Арнимом, прусским посланником, и за столом сидела между ним и Гизо, с которым она по этому случаю познакомилась и от которого была в восхищении. Перед обедом я получил записочку от Лагрэнэ, который уведомлял меня, что я только что избран был временным чле-

ном Жокей-клуба почти единогласно (без одного голоса) — результат чрезвычайно редкий, которым я обязан доброжелательному участию Лагрэнэ, как посредника, опиравшегося, может быть, немножко и на мое имя. Мы закончили наш вечер в четверг (поднялись из-за стола немного позже 9-ти) на одном маленьком детском бале у Пушкиных, куда наш Paul был отправлен несколько раньше. Вчера вечером мы были у Тьеров, и я был очень доволен, потому что весь вечер провел в литературной дискуссии с Тьером. Он начал с того, что посмеялся над речью Гюго в Палате пэров, считая ее глупой. Я ему сказал: вы имеете в виду, конечно, глупость в смысле политики, потому что как поэт Гюго часто не был лишен гениальности. „Как? он гений? Что за идея! Да ведь это — дурачок, жалкий бумажный болтун, позор нашей эпохи“ и пр. и пр.; потом, в дальнейшем разговоре, мы коснулись литературы всех времен и всех стран, и я совершенно не в состоянии передать вам все парадоксы, все нелепости, всю дикую бессмыслицу, на которые Тьер оказался способен, оставаясь однако же в пределах остроумия. При некоторых его неожиданных оценках мне иногда приходилось громко смеяться; Тьер не стеснял себя никакой внешней формой и продолжал свою речь, не обращая никакого внимания на мои возражения, как бы они ни были основательны: беспредельная самонадеянность француза *par excellence* (Тьер — самый полный тип француза со всеми его достоинствами и недостатками, доведенными до высшего развития), полное незнание всего того, что не касается непосредственно его страны, проявлялись каждую минуту. Литературные мнения Тьера чрезвычайно оригинальны и по своей редкости заслуживают, чтобы привести некоторые примеры. „После Греции и Рима не было ничего, что достигало бы их уровня (в смысле литературы); были только два литературных народа — французы и итальянцы, и затем — очень позади их англичане благодаря Шекспиру и испанцы благодаря Сервантесу“. — „Однако немцы?“ сказал я. — „Немцы! разве они написали что-либо стоящее внимания? Они слишком глупы для этого; это просто грубое стадо, вроде мужиков с Дуная, только без их искренности, глупые педанты и пр... Германия произвела только одного умного человека“. — „Кто же это?“ — „Фридрих Великий, да и то он не был настоящим немцем“. — „А кто же он был?“ — „Он был, вероятно, незаконным отродьем какого-нибудь французского повара; он был слишком умен для немца“. — „Однако Шиллер, Гете...“ — „Жалкие плагиаторы у Шекспира“. — „Философы“... „Со времени Лейбница, Декарта и Ньютона философов больше не было“. — „Однако немецкая философия со времени Канта и до Гегеля“... — „Жалкие мечтатели! — Кант старый дурак, воображавший в своей кенигсбергской дыре, что он пишет критику чистого разума...“ и пр. и пр. — „Вы вот говорите, что у англичан был только

Шекспир, а мне кажется, что, не говоря уже о многочисленных талантах во всех родах, есть одно имя, которое еще недавно имело огромное влияние на литературные течения всех стран и которое естественно, приходит на ум — Байрон? — „Байрон — кривляющийся болтун; через 20 лет имя его будет забыто... и пр. пр. Боссюэт, Расин, Мольер — вот великая троица гения, несколько ниже их — Вольтер и Монтескье, потом идут таланты — и в их числе среди наших современников Шатобриан и Ламартин. Говоря о последнем, я совершенно объективен, потому что я его не переношу, он мне противен, это — мечтатель, годный на малые дела и пр. Его «Жирондисты» — плохой роман, он написал их ради денег“ и т. д. и т. д. В конце концов, дорогая матушка, мне понадобился бы еще целый лист, чтобы рассказать вам обо всех эксцентричностях г. Тьера, который среди других, пожалуй, самый ожесточенный классик, какого я только встречал. Помимо смеха, я немало возражал ему разумными доводами, в которых я в особенности старался дать ему понять ошибочность его исключительно французской точки зрения и в какой степени мы, образованные русские, имея возможность в оригинале читать выдающиеся литературные произведения всех стран, являемся лучшими судьями, но говорить с Тьером об этом было совершенно напрасно: образцовые произведения имеются только у французов, и тем хуже для тех, которые с этим несогласны — такова основа его аргументации, которая однако же меня живо интересовала, потому что, как я уже упомянул, он предается этой оргии парадоксов с жаром и едкостью поистине привлекательными. Однако оценка, которую он сделал относительно немцев вообще и которая припала мне очень по сердцу, отличалась во многом той доброжелательностью, с которой и я слушал его остроты и разные уклонения в сторону.

IV

(Отрывок)

[№ 40]

Париж, 7/19 января 1848

У нас были сегодня к обеду супруги Эммануэль и Геккерн-Дантес, прибывший в Париж несколько дней тому назад.

V

(С пропусками¹)

[№ 43]

Париж, 30 января 1848 (11 февраля)

Наше существование здесь делается до такой степени рассеянным, дорогая и обожаемая матушка, что я действительно не знаю,

¹ Опущено несколько строк, касающихся дамских туалетов.

куда повернуться и в особенности, когда найти несколько часов для переписки с вами: однако вы не беспокойтесь, я все-таки их найду. По краткому отчету о нашем времени в течение прошлой недели, который я вам хочу сейчас представить, вы сами можете судить о затруднительности [моего положения]. Сегодня до обеда: дебаты по поводу адреса, суд присяжных, Лувр, множество визитов, клуб, куда я являюсь для нескольких роберов в вист и для информации о политических новостях; вечером — кроме спектаклей, которые почти совершенно я забросил, два, три, а иногда и четыре вечерних приглашения в одно и то же время, не считая балов, перед которыми также часто бывают вечерние собрания. Аврора теряет голову и в особенности свои силы, потому что у нее еще, кроме всего этого, тысяча всяких дел по поводу ее туалетов. Вы знаете, конечно, что такое рассеяние вовсе не в ее и не в моем вкусе, но в конце концов это сделалось для нас делом чести, и приходится подчиниться необходимости. Впрочем, хотя нам часто приходится поскучать в ином салоне и, напротив, радоваться, когда мы снова, в одиночестве и спокойствии, оказываемся за нашим вечерним чаем, однако этот калейдоскоп живущих и говорящих фигур, принадлежащих к самым разнообразным кругам по их политическим оттенкам, который мы можем наблюдать, тоже имеет свой серьезный интерес в смысле социального изучения Парижа — огромного центра, который, что бы о нем ни говорили, все же является в глазах объективного наблюдателя самым подвижным, самым волнующим и, следовательно, самым интересным городом в Европе: тут интересуются всеми великими политическими и социальными вопросами, которые обсуждаются на всем пространстве нашего старого света.

Чтобы описать вам нашу неделю, не впадая в сухую номенклатуру, которой вы не любите, дорогая матушка, я не знаю, с чего начать: с пустяков или с серьезных вещей, с балов и туалетов Авроры или с парламентских дел и событий, потому что те и другие интересы действительно у меня совмещаются: с одной стороны Аврора с ее переходящим всякие пределы кокетством, а с другой стороны я сам, который никогда не умел различить цвет платья, — и вот я по утрам обсуждаю с ней подробности ее вечернего туалета; могу вас уверить, что волнение при этой дискуссии немножко напоминает споры в Палате Депутатов в том смысле, что результат уже наперед всегда известен: министерство — это Аврора, а большинство Палаты — это я, и я неизменно „удовлетворен“, причем, поверьте мне, на гораздо более справедливом основании. Мы были уже на двух балах и сегодня вечером едем на третий. Первый бал был в прошлый вторник в Австрийском посольстве... На балу было 700 приглашенных, танцевали в двух залах, те, что не танцевали, держались преимущественно

в третьем зале, между двумя первыми, и здесь шумные звуки двух оркестров, скрепящаясь, производили какофонию, способную оскорбить даже самый неприхотливый слух. Стечение народа было громадное, жара удушающая, и, несмотря на это, праздник в общем был прекрасный — эlegantные туалеты, освещение, отлично одетая прислуга, очень хорошо устроенный буфет, роскошные цветы. Наши дамы не танцевали, а прогуливались под-руку со своими кавалерами, обращая на себя всеобщее внимание блеском туалетов и драгоценностей; хотя среди них была и моя жена, но я должен отметить и их красоту. Второй бал был вчера, в четверг, у маркиза и маркизы Лористон — оба большие легитимисты. Дом Лористонов заново отделан и производит очаровательное впечатление своей эlegantностью и прекрасным вкусом. Бал был блестящий — по освещению и массе цветов, общество не столь многолюдное и потому более изысканное, туалеты более свежие и разнообразные: на этой легитимистской почве не было того отпечатка траура, который (смотря по степени преданности) омрачал или лишал всякого вкуса туалеты на бале Аппони.

31 января (12 февраля), суббота

(Продолжение того же письма)¹

... В Париже принялись танцевать; я нахожу, что это плохой знак после пляски на вулкане в 1830 г. Политический барометр указывает на бурю. Все те, которые были на последних дебатах в Палате Депутатов, согласно говорят о том, что не запомнят подобного ожесточения. Это — крики, жесты и позы покойного Конвента: говорят с пеной у рта самые оскорбительные вещи, рассчитанные на призыв к бунту и благополучно проходящие под молчаливым покровительством *Moniteur'a*. *M-me Dosnes*, которая, говорят, имеет большое влияние на своего зятя, говорила мне однажды, делая намек на события в Неаполе: „Гизо выйдет только через улицу Толедо“, и я вполне верю, что если „улица Толедо“ ограничится только тем, что власть перейдет из рук Гизо в руки Тьера, поддерживаемого Барро, что в общем это было бы достаточно приемлемо, но ведь хорошо известно, где „улица Толедо“ начинается и неизвестно, где она кончается. Все чего-то боятся, и, мне кажется, оппозиция даже больше, чем другие, потому что она до такой степени вошла в накаленную атмосферу дебатов, что выйти из нее не может без риска навлечь на себя конфуз и насмешки и что итти дальше в том же направлении — это значило бы итти навстречу мятежу; при этом, заметьте, я ничуть не спорю о том, на чьей стороне право, а говорю только о суровой вероятности событий.

¹ Опущено несколько строк, посвященных описанию других балов, где были Карамзины.

Рамбюто однажды вечером рассказывал нам, что в первый раз после революции [т. е. Великой французской революции] партер Одеона пел хором Карманьолу и „Ca ira“, что однако же нисколько не мешало добрым буржуа из династической оппозиции набирать свою армию из этих певцов. А пока, говорят, послезавтра должен состояться — или хотя бы должна быть сделана попытка к этому — пресловутый реформистский банкет 12-го округа, по поводу которого министры и оппозиция обоюдно обменялись пожеланиями с высоты трибуны. Место еще окончательно не назначено; если это дело состоится, то мы (т. е. несколько человек) хотим нанять окно напротив, чтобы видеть, как все будет происходить; понятно, что если будут стрелять, то мы примем все необходимые меры к тому, чтобы остаться в стороне и сохранить наше положение любознательных путешественников и доброхотных зрителей. Что касается любознательности, то я нахожусь в самом точном курсе всех происходящих событий; они меня интересуют так, как если бы дело касалось лично меня или моего отечества. Этот интерес, впрочем, совершенно понятен: ведь интересуемся же мы в чтении каким-нибудь плохим романом или представлением на сцене незначительной пьесы, как плодом ревностных усилий мозга какого-нибудь жалкого автора, и неужели мы можем остаться равнодушными при виде борьбы, в которой сосредоточиваются и истощаются все интеллектуальные силы, все великие страсти избранных людей этой страны, наших ближних? и это только потому, что они спорят о своих делах, а не о наших? Но тогда закроем книгу истории... Нет, нет! откроем ее, станем изучать прошлое, наблюдать настоящее и скажем словами Сенеки: я человек и ничто человеческое мне не чуждо. Эта маленькая тирада обращается к скептикам вообще, а может быть к кому-нибудь и в частности, если только я смею шутить над моим бескорыстным увлечением, рекомендуя себе не слишком интересоваться тем, что меня вовсе не касается. Я считаю мою систему хорошей; она освобождает меня от скуки и интеллектуального и морального омертвения, которым страдают столько умов нашей эпохи... *(В конце письма сообщения о мелких личных и семейных делах).*

VI

[№ 44]

Париж, 6/18 февраля 1848

Со времени моего последнего письма, дорогая и милая матушка, барометр упал и показывает на бурю, облака сгущаются и затемняют горизонт, в отдалении грохочет гром, и в атмосфере чувствуется тихий предвестник движения, который нагоняет страх даже на самых отважных людей. Вы понимаете, конечно, что я посылаю не метеорологические наблюдения:

все эти явления, предшествующие буре, происходят в атмосфере политической, и все — начиная с улицы и кончая блестящими салонами — заняты вопросом: где будет банкет? Что решила оппозиция? К какому решению пришло министерство? Какой исход переговоров двух партий между собою? Когда и где что будет? Вот вопросы, с которыми обращаются и на которые каждый дает ответы сообразно своей политической окраске и степени точности своей информации. Однако, исключая сумасшедших из той и другой партии, желающих кровавой борьбы ради получения победы, все сходятся на том, что порицают правительство, доведшее дело до такой крайности, когда мирный исход делается почти невозможным. Во сто раз лучше вынести 11-й банкет, чем рисковать тем, чем рискуют желающие ему во что бы то ни стало помешать. Парламентская оппозиция также совершенно сокрушена и, может быть, еще более напугана, чем правительство; будучи обязана делать то, что она делает, и в то же время находясь под давлением извне, она не может повернуть назад или даже остановиться без того, чтобы не навлечь на себя насмешки после своих фанфаронских выступлений с трибуны. Пока еще ведутся переговоры, ближайшая среда назначена одновременно для мирной и легальной манифестации, для мятежа и для революции, потому что то, что предположено на среду, может привести к одной из этих трех вещей — единственно вследствие стечения неожиданных обстоятельств, не зависящих от воли руководителей. Этим последним надо отдать справедливость в том, что они делают все возможное, чтобы затруднить ожидаемый конфликт: например, они отложили банкет с воскресенья на среду, которая является днем, менее подходящим; место собрания, первоначально назначенное в предместьях St-Marceau, перенесено на Елисейские поля, которые являются, конечно, плохим полем битвы для восстания. Что делает положение еще более тяжелым — а это дает себя знать со времени событий 1830 г., так это то, что значительная часть национальной гвардии (оппозиция претендует даже на большинство ее) должна, в полной форме, принять участие в манифестации, и если дело дойдет до конфликта, то войска [регулярные] еще много подумают, прежде чем стрелять в национальную гвардию. И потом, надо отдать себе ясный отчет в обстановке: здесь это не то, что было в Палермо, Неаполе или Мюнхене; правда, впрочем, что в Мюнхене победа не была особенно блестящей: целый народ напал на одну женщину, да и то сзади! Все равно. Никогда удар кнута не падал более кстати, хотя мои друзья по Жокей-клубу, из которых многие говорят с полным знанием дела, полагают, что и бить-то не было кого. Мне рассказывали вчера в одном салоне чудесный анекдот о Неаполитанском короле; он очень характерен даже и в том случае, если погрешает против истины. При получении первых известий из Сицилии, Фердинанд спешно

велел позвать своего духовника монсеньора Кокле. „Ну, что я, достопочтенный отец, должен делать?“ — „Мой сын, наденьте на себя вот это облачение блаженного св. Лигвори и в зависимости от того, как вы будете себя чувствовать, свободно или стесненно, под этим святым одеянием, решайтесь или на сопротивление, или на уступки, так как блаженный внушит вам это по своим ощущениям... Итак, сын мой, как вы себя чувствуете?“ — „Под этой одеждой я чувствую себя очень смелым, мой отец!“ — „В таком случае, мой сын, будем нападать!“ Святой ошибся... (Личные и семейные сообщения).

В среду Шопен давал концерт. Чрезвычайная редкость его выступлений побудила и нас отправиться на концерт, хотя он начинался в 9 часов, а у нас был еще в виду бал у Поццо. Нам удалось быть там и тут. Игра Шопена это бесспорно самое восхитительное, что только я слышал на фортепиано: к тому, чем владеет Лист, он присоединяет еще нежность игры и исключительную грацию. Его женственная и страдающая фигура удивительным образом дополняет меланхолическую мелодию, которая выходит из-под его пальцев.

VII

[№ 45]

Париж, 11/23 февраля 1848

Я спешу, дорогая и милая матушка, опередить мой обычный почтовый день, чтобы рассеять ваши опасения относительно дня восстания, который мы здесь вчера пережили и подробности которого вы теперь знаете по газетам. Третьего дня на заседании Палаты Депутатов совет министров объявил о своем намерении всеми силами помешать манифестации, которая была назначена на следующий день и программа которой опубликована всеми газетами оппозиции. Депутаты, вернувшиеся из заседания, принесли нам это известие в клуб. Тотчас же многие лица омрачились, карточные столы были оставлены, и все говорили со вздохом: завтра будет стрельба! Утром на другой день я видел помещение, где должен был состояться банкет, и просил у Николая Мещерского гостеприимства для Авроры, чтобы видеть прохождение процессии (Николай живет на Авенуе Елисейских полей). В этот самый день у нас должны были обедать: чета Тьер, графиня de la Redorte, чета Лагренаэ, Матильда, адмирал Л...¹, Ампер и графиня Nieuwerkerke. Тьер, задержанный делами, мог приехать только после обеда. Все были под впечатлением известий, которые я только что принес. Страх перед завтрашним днем оказался сильной помехой гастрономическим соблазнам обеда, и было вообще невесело...

¹ Фамилия не разобрана.

Когда Тьер вошел в гостиную, все присутствующие испустили крик беспокойного любопытства: ну, как? Он нам сообщил, что, благодаря активному вмешательству его самого и некоторых других умеренных (по нашему: трусов), оппозиция, а также и внепарламентские вожди решили отказаться от банкета и заменить его пока торжественным предложением предать суду министров. Это решение оппозиции лишило события следующего дня, если только они вообще должны были иметь место, всякого характера серьезности и сводило их к размерам совершенно незначительного возмущения. Первым результатом этого было то, что, по уходе наших гостей, мы отправились с Авророй на бал в бельгийское посольство, от которого, в виду досадной помехи со стороны событий, мы уже почти отказались. Там оказалась огромная масса народа и жара тем более удушающая, что из опасения улицы были заперты внутренние ставни. Мы вернулись домой рано, в городе чувствовалось волнение, многочисленные группы на углах улиц читали прокламации, которые только что были расклеены. На другой день в 10¹/₂ Сергей Долгорукий зашел за мной, чтобы пойти посмотреть, что происходит; я поспешно оделся, и мы вышли. Огромная толпа заполняла площадь Маделен, прямо возле нас, и неслась по улице Royale на площадь Согласия. Войск еще не было видно; мы спустились по улице Royale на площадь и к мосту Согласия, который ведет к Палате Депутатов. Перрон был наводнен мятежной толпой, которая пела и кричала. Оттесненная эскадронами муниципальной конницы и драгунами, она отхлынула к площади с пением Girondins и с криками: „долей Гизо!“ В этот момент на рысях, с саблями на-голо, появился эскадрон драгун, толпа закричала „да здравствуют драгуны!“, и те тотчас же опустили сабли в ножны, что было покрыто криками „браво!“ Мы выбрались на бульвар, чтобы видеть, что происходило возле дома Гизо, которому угрожало быть наводненным толпой, но с этой стороны шутка становилась опасной: конные муниципальные войска с саблями надвинулись на безоружную толпу. Я видел, как один человек в блузе лежал распростертый на земле; я повернул в переулок направо; 4 или 5 муниципальных гвардейцев во весь опор подъехали к самым тротуарам, я прижался к стене, но отделался одним страхом; потом, минуя дом, занимаемый княгиней Ливен, которая вероятно переживала страх гораздо больший, чем я, снова взял путь по улице Rivoli и вернулся домой, чтобы успокоить Аврору. В 3 часа я снова вышел и, спустившись по бульвару, направился в клуб, который помещается в начале бульвара Монмартр. Там все имели испуганный вид, толпа распевала марсельезу, барабаны национальной гвардии, которую наконец решились позвать, били сбор, начали уже опрокидывать кареты и сооружать баррикады, omnibus спасались скача галопом в первый раз в своей жизни. Дела вообще готовились

принять очень серьезный оборот и, когда я уходил из клуба, чтобы вернуться домой, мятежная толпа уже отходила от наших кварталов, занятых массой войска. Авроре было интересно посмотреть на город, я ей дал руку, и мы прошли по площади Маделен и окружающим ее улицам. Вечером в $\frac{1}{2}$ 10 все было возле нас спокойно; я отправился еще раз в клуб в карете, чтобы узнать новости, они были благоприятны, и к 11 часам все успокоилось; я вернулся домой в полночь. Париж был пустынен и молчалив. Это молчание прерывал только шум дождя, который не переставал идти и не менее чем стрельба национальной гвардии помогал рассеивать толпу, и стук ружейных прикладов о мостовую или сабель многочисленных кавалерийских патрулей. Сегодня утром дождь еще продолжался. Я прошелся по некоторым улицам; национальная гвардия занимает их энергично, но повидимому все совершенно спокойно, и нужно надеяться, что на новые беды жаловаться не придется. Что же будет делать оппозиция? И что будут делать министры? Оппозиции, конечно, будет стоить немало труда заглазить те глупости, в которых она виновна, не говоря уже о низости, с какой она делает все возможное, чтобы возбудить и революционизировать народ, с тем, чтобы предать и покинуть его при первой опасности.

Час спустя.

Идет слух, что в предместьях мятеж возобновляется и принимает более серьезный характер и что народ двигается к зданию суда, чтобы освободить вчерашних заключенных. Новость эту принес прибывший из отдаленных кварталов доктор m-me Марченко, которая только что была у моей жены. Судя по спокойному виду наших кварталов, новость эта мало вероятна.

Приписка жены Карамзина Авроры: Андрей вернулся, чтобы сообщить, что министерство только что подало в отставку. Г-н Моле был позван в Тюильри для формирования нового министерства. Народ принял это с радостью; бульвары запружены огромной толпой, которая кричит: „Да здравствует реформа! Да здравствуют драгуны! Долой муниципальное управление! Долой Гизо, долой тирана!“

VIII

(Письмо жены Карамзина Авроры)

[№ 46]

Париж 12/24 февраля 1848

Дорогая и добрая матушка,

со вчерашнего дня события пошли очень быстро. Менее, чем в несколько часов произошла настоящая революция, и я хочу дать вам о ней некоторые подробности, пока Андрей вышел из дому, чтобы собрать другие новости, если они есть. Во

вчерашнем моем письме я говорила вам о смене министерства и о той безумной радости, которую это решение короля возбудило в народе: крики веселости раздавались на бульварах и на всех улицах. И вот вечером Андрей, видя, что все спокойно и не ожидая встретить ничего кроме радостных манифестаций, вышел, чтобы посмотреть, что делается на улицах. Войска все еще стояли вокруг дома министерства иностранных дел и вокруг них образовалась огромная толпа, которая пела, кричала и требовала, чтобы в этом доме зажгли иллюминацию; во всех кварталах города толпа требовала также иллюминации. Вдруг Андрей увидел, что появляется процессия, численностью от двух до трех тысяч человек, в блузах, спускающаяся по бульварам с факелами, трехцветным знаменем и несколькими красными знаменами; в этой толпе находилось много вооруженных людей, но все они имели безобидный вид, все пели, смеялись и стремились присоединиться к любопытствующей толпе, которая стояла перед бывшим дворцом Гизо. Неизвестно, по какому недоразумению, но со стороны войска принято было решение дать залп в толпу; тогда вся эта масса испустила крик ужаса, и Андрей едва не был опрокинут резким движением напуганной толпы народа. Человек 50 было убито из мирного населения, из них несколько женщин. Моментально стали раздаваться крики вплоть до предместий: „К оружию! к оружию! Избивают народ!“ Всю ночь было большое возбуждение, везде были построены баррикады, деревья на бульварах были порублены, уличные мостовые разобраны, и сегодня утром Тьер и Одилон Барро были позваны, чтобы образовать новое министерство, но их уже больше не хотели. Тогда Луи-Филипп со всей своей семьей отправился в Палату Депутатов с целью отречься от престола в пользу графа Парижского. Графа Парижского отвергли, и король со всеми членами своей семьи удалился в Нейльи. Только что сформировано временное правительство, в состав которого вошли: Одилон-Барро, Ледрю-Роллен, Гертне-Пажес, Ламартин и Марраст. Все регулярные войска обезоружены, народ является распорядителем города, он же принял власть и над Тюильри. Во всех окнах дворца виднеются фигуры в блузах, трон протащен по бульварам; наконец, Париж находится в состоянии полной революции, и эта революция вовсе не была подготовлена, она явилась результатом неправильных мер со стороны министерства, а позднее — и всеобщей трусости.

Если дело пойдет в том же духе, как оно идет теперь, то мы конечно покинем Париж; Андрей или я будем сообщать вам ежедневно новости о положении страны, где мы находимся.

Андрей вернулся, он был в Палате Депутатов. Только что провозглашена республика. Главой временного правительства является Dupont de l'Eure, а членами — те, которых я уже вам назвала.

Аврора.

Приписка А. Карамзина: Раненый Lamorigière назначен командующим национальной гвардией. Обнимаю вас всех. Будьте спокойны: частным лицам не грозит никакой опасности. Я прогуливался все время, и на меня никто даже косо не посмотрел.

IX

[№ 47]

Париж 13/25 февраля 1848

Дорогая и милая матушка,

мне кажется, что я пишу вам в бреду — до такой степени невероятны события, при которых мы присутствуем; они наступили с такой быстротой, что 12 часов было достаточно, чтобы опрокинуть королевство, которое, казалось, в течение 18 лет укреплялось и готовилось к победоносной борьбе в день опасности. Я провел большую часть этих дней, которые только что миновали, на улицах — в качестве спокойного и беспристрастного наблюдателя, но я совершенно не имею времени записать на бумаге историю этих четырех правительств, уступавших одно другому место в течение нескольких часов. Я посылаю вам на всякий случай те „полу-газеты“, которые вышли вчера вечером и сегодня утром. Только что получено известие, что Vincennes и укрепления сдались без выстрела. Мирные жители и иностранцы до настоящего момента решительно не имели повода чего-либо бояться. Порядок в этом городе, представленном исключительно самому себе, поддерживался превосходно, как только вооруженные действия окончились; несмотря на то, что на улицах было много людей вооруженных и пьяных, так как погреба Тюильри и Пале-Рояля подверглись разграблению, как и все остальное во дворцах, и много пили, не было допущено вне стен дворцов ни одного эксцесса. За ружейными выстрелами борьбы следовали взрывы радости, но они были не менее неприятны для слуха каждый день и каждую ночь. Улицы все еще загромождены баррикадами, и по ним нельзя проехать в экипаже. Мы, по всей вероятности, покинем Париж как только это будет возможно, т. е. когда конторы банкиров будут открыты. Судьба монархии была решена этой несчастной стрельбой в упор против мирной толпы у дворца Гизо: она отняла у армии сочувствие населения, большая часть которого вовсе не была настроена агрессивно, и чтобы вам сказать, до какой степени всего за несколько часов до событий еще не знали, что должно произойти, — вот факт: третьего дня в среду вечером 23 февраля супруги Лагрэнэ пришли к нам в гости после визита у m-me Voigne, и г. Лагрэнэ ручался своей жизнью за то, что движение, продолжавшееся два дня, было не более, как мятежом без особых последствий и что, в виду уступки со стороны короля, все должно было войти в свои границы. Правда,

я не разделял его мнения — меня считали алармистом!.. (Приветствие семье). Мне хочется отправиться отсюда в Баден или Франкфурт; во всяком случае пишите мне в этот последний город, по адресу г. Sarg, владельца гостиницы „Hôtel de Russie“.

X

(Письмо жены Карамзина, Авроры)

[№ 48]

Париж 14/26 февраля 1848

Дорогая и милая матушка!

Со вчерашнего дня — ничего нового. Это становится даже почти скучно после того, как мы имели по четыре смены правительства в один день. Теперешнее правительство, утвержденное временно, все еще держится и, кажется, предпринимает самые благоразумные и активные меры к тому, чтобы поддержать порядок и общественное спокойствие. Все иностранцы тем не менее думают уехать, и Андрей отправился к Ротшильду, чтобы запастись деньгами с той же самой целью. Тем не менее, мы еще не можем точно указать день, когда мы покинем Париж. Нас уверяют, что гораздо безопаснее в настоящий момент остаться здесь, чем находиться в дороге внутри страны, где еще раздаются отзвуки этой революции. Газеты расскажут вам о всех мерах действующего ныне правительства. Король Луи-Филипп в Англии. Я надеюсь, что он и герцог Бордосский, оба изгнанники в чужой земле, где-нибудь встретятся — это именно рука провидения. Министры также все ускользнули от народной мести к счастью для них да также и для народа, победа которого не была омрачена до сих пор ни одним актом грубой жестокости. Мшнение распространилось только на помещения короля, — именно все внутренние апартаменты Тюильри и Пале-Рояля сожжены и опустошены, начиная с чердака и кончая подвалами. Сегодня даже открываются театры и дают свои первые представления в пользу раненых трех великих дней февраля, которые по замечательному совпадению являются как раз вторником, средой и четвергом, как и в июле 1830 г.

XI

[№ 49]

Париж, 16/28 февраля 1848

Дорогая и милая матушка,

чтобы избавить вас от беспокойства, Аврора или я писали вам ежедневно. Теперь же, поскольку спокойствие восстанавливается, ружейные выстрелы уже более не раздаются, и мостовые, заваленные баррикадами, принимают свой прежний вид, было бы своевременно дать вам краткое обозрение тех сказочных со-

бытий, которых мы были свидетелями. Однако такая задача гораздо труднее, чем это может казаться. Тут можно бы написать целую книгу, да и то еще в ней оказалось бы много неточностей и противоречий: до такой степени данные недостоверны, газетные сообщения преувеличены, а рассказы о событиях свидетелей-очевидцев, переданные под впечатлением страха или возбуждения, далеко между собою несогласны. Тем не менее, я попытаюсь представить вам день за днем почти точную сводку главных моментов революции, которая только что закончилась.

Воскресенье. Ужасная сцена в королевской семье. Герцогиня Орлеанская и принцы умоляют короля распустить министерство, он с горячностью отказывается. Идут приготовления к большой манифестации на вторник.

Понедельник. Министерство через посредство Дюшателя объявляет свою волю силой воспрепятствовать банкету и занять на другой день Париж войсками. Значительная часть напуганной оппозиции отказывается от банкета, возлагая на министерство ответственность за то, что может случиться.

Вторник. С утра весь Париж на ногах больше любопытных, чем злонамеренных. Безобидная и безоружная мятежная толпа вдоль бульваров, улицы Маделен и площади Согласия. Со всех сторон стягиваются войска; национальная гвардия одна лишь выпускает бесполезные выстрелы, которые не рассеивают толпу, а только перемещают ее с одного места на другое и в то же время раздражают. К вечеру в предместьях воздвигаются баррикады, на них завязывается бой, но муниципальная гвардия везде имеет перевес; в 5 часов бьют сигнал к возвращению, но национальные гвардейцы возвращаются к своим местам лишь отчасти, и во многих местах раздается их крик: „да здравствует реформа!“. К ночи все как будто успокаивается. Заметьте, что до этого момента положение не было серьезно, если не считать вызывающего поведения национальной гвардии. Мятеж был просто со стороны уличных мальчишек; тайные общества, организованные секции не выходили на улицу и держались готовыми ко всяким случайностям.

Среда. Собранная национальная гвардия почти повсюду требует реформы; народ в огромных, хотя и безоружных массах стекается на бульвары с криками: „да здравствует национальная гвардия! Да здравствует армия! Долой Гизо! Да здравствует реформа!“ Одушевленные секции спускаются на улицы, баррикадируются в предместьях и вступают в бой; пушки направляются на предместья Сен-Дени. Депутация командующих отрядами национальной гвардии направляется к королю, чтобы потребовать от него реформы и отставки министров; король уступает и призывает г. Моле. Изумление консерваторов, радостное опьянение народа на бульварах и на улицах. Выстрелы замолкают в предместьях, которые однако же не поки-

дают ни своих баррикад, ни оружия, боясь — как говорят они — чтобы их не обманули. Возбуждение чрезвычайное, хотя очень радостное и миролюбивое. Кричат: „да здравствует реформа! Долой Гизо! Да здравствует армия! Долой муниципалов!“ Организованные республиканцы, которые не покидают баррикад, поддерживают возбуждение. Огромные толпы народа проходят вечером по бульварам, распевая марсельезу. Дом министерства иностранных дел охраняется батальоном, который занимает бульвар во всю длину. Одна такая толпа с пением спускается по бульвару, ей преграждают проход, она настаивает, солдаты стреляют в толпу в упор — и 52 человека, в том числе и женщины, падают под пулями. Эти выстрелы явились похоронным залпом для монархии 1830 г. Вид города немедленно меняется, все население кричит „к оружию!“, возбуждаемое республиканскими эмиссарами, которые при свете факелов провозят колесницу с телами убитых; народ хватается за оружие, какое находит в домах, весь город в течение ночи покрывается баррикадами; республиканцы, во главе с национальной гвардией, полностью вступают в движение и ведут его вперед. Ночью Bugeau принимает командование над войсками и производит диспозицию, чтобы начать атаку на рассвете; под его начальством состоят генералы Lamoricière, Bedeau и St-Arnaud. Наступление открывается в шесть часов и увенчивается успехом, войска сносят много баррикад. Вдруг получается приказ — прекратить огонь; Тьер и Одилон-Барро в составе министерства. Войска, измученные усталостью и в течение уже двух дней предоставленные ласкательству со стороны толпы, все более и более деморализуются; генералы, приводимые в замешательство приказаниями, которые постоянно противоречат друг другу, явно теряют голову, а мятежники покидают свои баррикады и начинают наступательное движение к центру города и к дворцам. Войска поднимают ружейные приклады кверху и, наконец, передают свое оружие и амуницию народу. Герцог Монпансье, во главе 6000 человек и грозной артиллерии, передает все свои артиллерийские ящики народу возле ворот Сен-Мартен, не сделавши ни одного выстрела, и постыдно спасается в сопровождении своих адъютантов. Одна только муниципальная гвардия сохраняет честь французского мундира: эти несчастные и храбрые солдаты, рассеянные по разным постам на всем пространстве Парижа, атакованные без всякой к ним пощады огромной остервенелой толпой, преданные линейными войсками повсюду, без единого ружейного выстрела в их защиту, героически бьются и неотступно умирают на своем посту. Ратуша, осажденная 30000 людей (как уверяют), сдается без борьбы; войска предадут народной ярости 300 несчастных муниципальных обезоруженных солдат, которых они обещали защищать и только небольшое число которых спасается бегством. В Тюильри страх всех приводит к безумию; принцы настоятельно требуют

от короля отречения; Пале-Рояль подвергся нападению и взят был после довольно значительного сопротивления (это — единственное место, где серьезно дрались); народ и национальная гвардия устремляются на Тюильри, король отрекается от престола и спасается бегством с королевой и принцессами через Тюильрский сад и Елисейские поля. Десять тысяч солдат, которые окружают Тюильри и отступают перед народом, отдавая ему свое оружие, боевые запасы и пушки!.. Толпа набрасывается и грабит Тюильри. Герцогиня Орлеанская со своими сыновьями и принцами отправляется в Палату депутатов — и вы уже знаете конец этой жалкой истории: республиканцы ее схватывают, принцы спасаются переодетыми, а герцогиня с маленьким графом Парижским находит убежище в Доме Инвалидов. Ее разлучают с маленьким герцогом Шартрским, которого приносят ей только вечером; рано утром она покидает Париж. Вся семья садится в различных местах на морском берегу на суда, и пока еще нет известий об их прибытии в Англию.

Вот, дорогая матушка, в кратких словах почти точная передача того, что я видел, читал и слышал. Если в этой непрерывной цепи событий поискать причину катастрофы, то придется стать перед большим затруднением. По моему убеждению буря подготовлялась в течение ряда лет и должна была рано или поздно разразиться. Что делало для меня опасность положения еще более ощутительной — так это полная беспечность всех людей, имевших власть, и большинства, с которым я был в ежедневном общении; это большинство не только отрицало опасность, но и было убеждено, что страхи и опасения „ясновидцев“ были воображаемые. Рекомендую вам прочесть мое письмо к Аркадию, в котором я говорю, что не в Палате депутатов, а на улице будет решена судьба Франции, а также вспомнить то, что я писал вам в прошлое воскресенье о манифестации или мятеже или даже о революции (я помню, что именно это слово там есть) в ближайший вторник. Весьма вероятно, что дело Луи-Филиппа могло бы быть еще спасено без событий в среду вечером, но после этой знаменитой стрельбы дело монархии было потеряно, и республика оказалась неизбежной; и это — не потому, чтобы республиканцы были более сильны, и тем менее потому, чтобы они оказались более многочисленны, но потому, что они более организованы, что они шли к своей цели сомкнутым строем и во главе их стояли люди смелые и решительные, в то время как сторонники правительства, казалось, ссорились между собою в слабости и трусости; войска изменили, а национальная гвардия воздерживалась от всякого дела. Только одни женщины вели себя превосходно! Королева убеждала короля предстать перед народом и умереть на своем посту; герцогиня Орлеанская боролась до конца. Гизо, ничего не видевший до конца, еще в четверг прогуливался по

площади Карусель, не предполагая никакой серьезной опасности ни для себя, ни для правительства.

На этом я кончаю, потому что пора отправлять письмо. Потом я его продолжу, так как надо еще рассказать о поведении активного и пассивного населения после борьбы, о нелепом страхе, который им овладел, о чудесах деятельности и мужестве временного правительства (особенно о Ламартине), которое в течение 60 часов совещалось и управляло в Ратуше среди 5—6 тыс. жителей из предместий, в то время как те поочередно держали их на ружейном прицеле... (*поклоны и приветствия*)... Теперь все спокойно. До свидания!

XII

[№ 50]

Париж, 17/29 февраля 1848

Дорогая матушка, я тем более доволен, давши вам в моем вчерашнем письме небольшой обзор событий, что газетные сообщения очень неопределенны и спутанны и что, например, сегодняшняя газета „La Presse“ полна неточностей и преувеличений. Прежде всего, я сам был очевидцем многих вещей, о которых я вам рассказываю — между прочим трех великих моментов революции. Это — следующие: публикация на бульварах о первом отступлении Луи-Филиппа, согласно распоряжению Моле, и обещание реформы; обстрел дворца Капуцинов; наконец — провозглашение республики в зале Палаты депутатов. Затем, я был в течение ряда дней в постоянных сношениях с разного рода людьми с улицы, со многими агентами власти в клубе — между прочим с военной средой королевского дома и принцев. Наконец, вчера вечером я был у Тьера, последнего министра павшего королевства, который рассказал мне много интересных подробностей, объясняющих отчасти ту неслыханную и загадочную легкость, с которой народ победил власть, казавшуюся столь сильной. Но прежде всего я хочу закончить мой вчерашний рассказ. Правительство, импровизованное восстанием и провозглашенное им, немедленно перенесло свое пребывание в Ратушу и там обосновалось. Перед ним стояла тяжелая задача в условиях полной невозможности действия: полки, обезоруженные и удерживаемые в казармах повстанцами, 100000 человек народа, вооруженного и действовавшего в качестве хозяев города, национальная гвардия без патронов, уничтоженная полиция, несколько открытых тюрем и их обитатели, распространившиеся по городу и по окрестностям. Прибавьте к этому, что после взятия Тюильри народ проник в погреба и напился там до последней крайности. И вот, из этого хаоса без исхода и без надежды Париж вышел лишь по истечении трех дней, и вышел таким образом, что если бы не поломанные деревья на бульварах и плохо восстановлен-

ные мостовые, служившие для баррикад, то, гуляя по улицам, трудно было бы поверить, что тут происходило. Почти вся часть этого чуда должна быть отнесена к Ламартину, к его героическому мужеству, к его увлекательному красноречию — единственное оружие, которое он мог противопоставить безумным требованиям и преступным эксцессам вооруженных банд, которые окружали Ратушу. Самым блестящим его триумфом, по словам всех, был тот момент, когда он отверг красное знамя и в великолепной импровизации к мятежной толпе на площади защищал трехцветное знамя: эта победа укрепила временное правительство; со следующего дня Ратуша была занята несколькими батальонами национальной гвардии и артиллерийскими частями Сен-Сирской школы, длительный мятеж был остановлен, и с воскресенья правительство функционирует правильно.

1 марта /18 февраля

(Продолжение того же письма)

Чего нужно бояться? Если бы я должен был отвечать на этот вопрос несколько дней тому назад, то я должен был бы, видя всеобщее разрушение, ответить: бояться всего, другого страха нет. Но вот уже несколько дней, как положение изменилось: начинают немного понимать, что есть возможность жить, несмотря на это ужасное слово „республика“. Боятся, как бы настоящее правительство, добрым намерениям которого все отдают справедливость, не потеряло своей устойчивости. Я не думаю, чтобы это могло произойти по той причине, что люди, которые составляют правительство, дойдут до Геркулесовых столбов политической свободы и социального равенства. За этим стоит, конечно, коммунизм, но ведь надобно сказать: коммунизм — это не более как преступная и бессмысленная мечта ничтожного меньшинства. Однако опасность не в этом, а, по общему мнению, опасность заключается в финансовом кризисе, в стремительном обесценении всех общественных ценностей, всего промышленного производства, в деморализации армии, униженной и побежденной без борьбы, в вероятном дефиците общественных доходов, и это при возможности всеобщей войны, наконец — в гражданских раздорах, которые могут вспыхнуть между многочисленными партиями, народившимися во взаимном согласии для нападения на бывшую власть, но в большей своей части отвергающих республику в серьезном смысле. Я говорю в „серьезном смысле“, потому что, если посмотреть на них и их послушать, они все республиканцы в душе, у всех только одна мысль и одно желание — изо всех сил поддержать временное правительство и облегчить его задачу всеми возможными способами. Не что иное, как страх привел к этому единодушному действию, и хотя побудительная причина этого не была

исобенно благородна, однако результат был замечательный, и когда я видел, что все начинали со строгого равенства, а кончали молодыми изящными легитимистами, упорно стремившимися надеть на себя шапочку национальной гвардии, то я успокаивался, и события давали мне лишний довод против трусов... А кстати об этих трусах; о, как многолюдна это порода! как они достойны сожаления! как страх охватил все страны! Справедливость заставляет меня сказать, что русские и французы обнаружили особенную трусость. Я говорю не только о женщинах, но и о мужчинах. Я видел из числа моих дорогих соотечественников таких, которые в течение 4 или 5 дней похудели как от болезни; есть такие, которые из страха перед этой „сволочью“ (как они говорят) не выходят из дому иначе, как с огромными трехцветными тряпками в петлицах... Однако есть и некоторые почтенные исключения: в том числе Мещерские, муж и жена, старик Дундуков, который в оценке вещей обнаруживает гораздо больше ума и здравого смысла, чем ему обыкновенно приписывают, наконец — несколько молодых людей, среди которых Абаза и m-me де-Лагрена.

Как я вам говорил, позавчера вечером я был у Тьеров. Там было много гостей: Кузен, Минье, Роже и другие застигнутые (attrapés) событиями трех [последних] дней под председательством m-me Тьер и m-me Dosnes, этой второй „застигнутой“, которой я имел большое желание напомнить об ее обещаниях касательно „улицы Тоledo“, но я оказался для этого слишком мягкосердечен. Кузен, который вероятно обливался холодным потом за два дня до этого, предавался теперь своему сатирическому вдохновению по поводу какого-то распоряжения республиканского правительства... и эти дамы и господа со своими взрывами смеха... они внушали мне насмешливое презрение — за исключением самого Тьера: это — человек, которому еще предназначено сыграть крупную роль во Франции. В настоящее время он сыграл несчастную роль и потерял ее в тот момент, когда был уверен в своей удаче; он пострадал и был даже немного унижен в своем падении, но он понимает положение вещей и, я в этом уверен, возьмет свое. Я беседовал с ним в течение целого часа с глазу на глаз, стоя в дверях передней. Призванный в 3 часа к королю, он, оставляя в стороне всякую иллюзию и ознакомившись с положением дел, сказал принцам: дело конченное, монархия погибла! В Париже всего только 29000 человек [войска] вместо 80000, о которых говорили, и в четверг утром эти люди, рассеянные по всему Парижу, не имели больше ни хлеба, ни патронов! Отправили за 5000000 патронов в Венсенн, но венсеннская дорога пересекает предместье St-Antoine — центр восстания, и все патроны попали в руки народа. Тьер не может опомниться от ослепления и неосведомленности министров, которые провоцировали в Париже сражение и не приняли никаких мер к тому, чтобы обеспечить за

собой победу; король до конца оставался мелким хитрецом и упрямцем, нигде не обнаруживая ни величия, ни решительности. Монпансье скрылся из Тюильри, забывши там свою жену — несчастную женщину, которая была спасена одним из депутатов; она, может быть, еще в Париже, а ее муж в Англии. Все русские сложили свои вещи, но должны были их распаковать, так как дороги не в безопасности. Я еще не знаю, когда мы отправимся, а пока продолжайте, дорогая матушка, направлять ваши письма во Франкфурт: они найдут меня, где бы я ни был. Позавчера я получил ваше милое письмо; благодарю вас за вашу аккуратность.

XIII

[№ 51]

Париж, 23 февр. (6 марта) 1848

Так как жизнь приняла свое обычное течение, дорогая и милая матушка, и ваше сердце, наполненное беспокойной заботой о нас, больше не имеет оснований к тому, чтобы мучить себя опасениями того, что мы можем бежать где-нибудь среди ружейных выстрелов и баррикад, то и моя переписка тоже принимает мало-по-малу свой обычный характер. Со среды 24 февраля и до среды 2 марта мы написали вам 6 писем — я говорю „мы“, потому что два раза, в то время как я проводил день на улицах, дорогая Аврора заменила меня в исполнении этой святой обязанности. Помимо успокоения, которое эти ежедневные письма должны были принести вам относительно нас, я представляю себе, что эти дагерротипические снимки событий по мере того, как они разворачивались, должны были иметь большой интерес для всех; я от всего сердца примиряюсь с тем, что они были прочитаны на почте, лишь бы только после этого они наверняка были доставлены по назначению. В настоящее время меня занимает и интересуется больше всего то, какое впечатление события в Париже произвели в Петербурге: именно — как император принял эту новость? каковы были первые его слова по этому поводу? что думают делать? что говорят в свете? что говорят в городе? Я питаю надежду, дорогая матушка, на вас и исключительно на вас, чтобы удовлетворить это законное любопытство, так как все другие, братья и сестры и сам Александр как будто поклялись между собою сохранять по отношению ко мне полное молчание. Я начинаю также серьезно беспокоиться относительно затяжки моей „отсрочки“ по отпуску: вот уже шесть недель как я писал Дубельту, потом я писал еще Владимиру и Аркадию с просьбой ускорить дело, но до сих пор не получил никакого ответа. Я боюсь, что дело затянется, и в таком случае судьба моего отпуска окажется очень печальной. Позавчера я получил ваше милое письмо от 11/23 февраля со всеми нежными чувствами

к нам обоим и с интересующими нас подробностями вашей повседневной жизни. Когда вы это письмо писали, вы, конечно, не представляли себе, что происходило в это время в Париже. Здесь все идет хорошо, все успокаивается, даже ужасы трусов и паникеров, а ведь эти люди не самое малое из зол, порождаемых всяким политическим потрясением. В течение последних 4—5 дней мы кое-кого видели: так, в среду, день моего последнего письма к вам, мы были вечером у Марьи Яковлевны и, вместо многолюдного и блестящего общества прежнего времени, мы нашли там только Кочубеев и жену Сардинского посла. В четверг, когда у Авроры болели ноги, я один отправился к m-me Albuferra, и в передних комнатах был только один слуга! в гостиной всего только одна лампа! и только одно лицо, составляющее общество: это — старик Рамбюто, менее удрученный и растерянный, чем я мог предполагать. Он записался в национальную гвардию и стоит на карауле у входа той самой Ратуши, которую он так великолепно реставрировал и обмоблировал, с тем, чтобы другие, увы! этим воспользовались. Толпа, проникшая в четверг днем в его комнаты, не сделала там никаких повреждений, а удовольствовалась лишь тем, что торжественно пронесла его портрет, потом положила его на постель m-me Рамбюто со словами, обращенными к портрету: спи, папаша Рамбюто, ты должен быть утомлен!

Одним утром я был также у m-me Рекамье; Шатобриан также был там, молчаливый попрежнему. Говорят однако же, что когда он узнал о победе народа и о провозглашении республики, он вскричал: „ах, это хорошо! это очень хорошо!“, но с того времени не сказал ничего. Герцог de Noailles, оратор Палаты пэров, которого я там встретил, показался мне ошеломленным, как и все оставшиеся в стороне, и таких много. Я там снова встретил также Анпера, с которым мы расстались в понедельник вечером, накануне нашего предположенного обеда, который я называю в шутку последним банкетом жирондистов династической оппозиции, представленной четой Тьер и m-me de la Redorte. В пятницу вечером мы были у Кочубеев, где я был использован [в отношении сведений] преимущественно хозяином дома, в то время как хозяйка дома сильно была опечалена и подавлена падением системы, которой держалась ее тетка, и с грустью поддерживала честь своего салона перед Авророй и Эммануэль. Вчера с балкона Долгоруких (которые занимают нашу прежнюю квартиру в доме на Итальянском бульваре) мы присутствовали на похоронной процессии жертв Февраля. Вы читали описания ее в газетах; вид толпы был холодный и безразличный; катафалк был покрыт красным бархатом, украшен зеленью, с упряжкой в 8 белых лошадей, и должен был — я не знаю, почему — представлять республику; получилась плохая и смешная загадка, которой никто не разгадал; но что было удивительно, так это — порядок и спокойствие, которое господствовало в этой

несметной толпе, числом до 400000 человек, и это при полном отсутствии полиции. Ничто лучше не показывает слабости сопротивления мятежу, как малое количество жертв: со стороны народа почти 500 человек, из которых 120 мертвых, со стороны войск — немного больше 200, среди которых 180 муниципальных гвардейцев — из них 60 убитых и 120 раненых. Судьба этих несчастных людей очень печальна. Собирают миллионы для раненых из народа и не уделяют ни копейки бедным солдатам, которые доблестно выполнили свой долг; и теперь, когда их части распущены, они не имеют ни хлеба, ни убежища. Я передал для них 100 франков одному лицу, которое в их пользу производит тайный сбор — я говорю „тайный“, потому что это лицо едва не было арестовано по подозрению в недозволенной агитации. В этот же день вечером у нас были к обеду Эмануэли и Жирарден — по случаю блинов; позже пришли еще Николай Трубецкой и m-me Kollergi, которые помешали нам отправиться к итальянцам. Вчера в воскресенье мы до упаду смеялись веселым шуткам в нашем милом театре Пале-Рояль или лучше Montausier, как он называется после „Les trois glorieuses“ второй редакции; к нам присоединились Лагрэнэ, после чего каждый отправился к себе спать, как говорится в песенке. Бедные Лагрэнэ произвели у себя перемену: они отказались от кареты, подобно многим здесь, которые потеряли свое положение или свои надежды на будущее. Если произойдет в Париже еще одна революция, то будет невозможно разобрататься в названиях улиц и памятников; каждая революция приносит с собой свою номенклатуру. Это смешно, но еще более удивителен декрет временного правительства, уничтожающий титулы (звания): эту меру приняла старая революция, не использовавши того значения, которое она могла бы тогда иметь. Я предпочел бы такую меру, которую предлагает одна маленькая группа и по которой правительство могло бы категорически декретировать разрешение каждому французу именоваться маркизом или графом, смотря по его желанию. Что скажете вы о циркуляре Ламартина французским представителям за границей? Я говорю, что это — излишне пространный отрывок, заимствованный из его „Истории жирондистов“; я думаю, что такой взгляд разделяют почти все.

24 февраля (7 марта)

(Продолжение того же письма)

[№ 51]

Вчера Аврора была свидетельницей одного зрелища, которое может занять не последнее место среди невероятных вещей, происходящих здесь в течение последних дней. После взятия и ограбления Тюильри, толпа покинула его, но, подобно реке, оставляющей ил на тех местах, где было наводнение, она оста-

вила во дворце человек 150—200 бездельников, которые под предлогом охраны дворца остались в нем, будучи организованы по-военному, снабжены оружием и снарядами; пресытившись грабежом, они сопротивлялись всем обращенным к ним требованиям. Наконец, против них были двинуты ученики Сен-Сирской школы, но разбойники заявили, что они будут защищаться до последней крайности. Весь день прошел в бесполезных увещаниях и переговорах; всеми силами избегали кровопролития; так или иначе дело должно быть решено сегодня. Вчера вечером мы были вместе с Лагрэнэ у m-me de-Boigne. Ее салон никогда не был особенно интересен, но теперь это — мерзость запустения: это — вздохи и стенания, слезы и скрежет зубовой, как в вечном аду; я поставил крест на этом салоне, чтобы никогда более в него не возвращаться иначе, как для окончательного прощального визита. Пока будет длиться приостановка платежей дома Gouin, многие пострадают еще в большей степени, если это возможно. Goudchaux покинул заведывание финансами и переходит к управлению банком вместо d'Argout, а вместо него назначен Гарнье-Пажес, уступивший в должности мэра свое место Араго. Это — последние новости, они еще не опубликованы в газетах. При неустойчивом положении вещей всякое изменение опасно, всякая перемена внушает опасения. Г. d'Estournel, литератор и легитимист, которого я очень часто встречаю у m-me Рекамье, говорил мне, что Ламартин полон надежды: никогда он не чувствовал себя лучше, никогда он не пользовался большей свободой духа; да поможет ему господь! Мы должны были отправиться к нему на прошлой неделе, но революция спустилась на нас, как снег на голову, и я сожалею, что не приобрел этого знакомства своевременно; теперь же его официальное положение в правительстве, которое быть может не будет признано нашим, делает это невозможным. Что касается лично нас, дорогая матушка, мы чувствуем себя, слава богу, хорошо. Мы также очень довольны г-ном Роже, новым гувернером Павла, который сделал уже замечательные успехи под руководством своего нового наставника. Все наши проекты будущего приостановлены вследствие неизвестности о том, что будет с моим отпуском. Если я получу его продление, то мы рассчитываем покинуть Париж в первых числах апреля, направиться во Франкфурт, оттуда предпринять, быть может, небольшое путешествие в Англию, а потом вернуться для лечения в Баден. Если же я его не получу, то я не знаю в сущности, что мне делать, потому что нам невозможно предпринимать столь длинное путешествие в худое время года... (приветствия и поклоны).

Кстати о финансовом кризисе. По этому вопросу я боюсь и за нас. Представьте себе, дорогая матушка, что со времени нашего выезда из Петербурга, мы ссудили в долг разным нашим соотечественникам более 30 000 франков — все на несколько

недель, и до сих пор еще не получили ни одной копейки обратно, в том числе и 5000 франков, которые Растопчин взял у меня в Бадене в августе месяце, чтобы возвратить их в сентябре; по этому поводу я ему писал и ожидаю ответа.

XIV

[№ 52]

Париж, 1/13 марта 1848, понедельник

Вот уже два дня, как я тщетно ожидаю вашего еженедельного письма, дорогая и милая матушка; ваше последнее письмо пришло ко мне в субботу, а сегодня у нас понедельник, и письма нет. Ведь конверт, надписанный рукою Софьи и заполненный вами, это — одно из необходимых условий моей душевной жизни и хотя запоздание на два дня собственно говоря меня не беспокоит, тем не менее оно омрачает ясность моего настроения, и завтра я проснусь с биением сердца. К счастью, Аврора получила сегодня от своего брата письмо со штемпелем от 16/28 февраля из Петербурга; ваше должно было быть отправлено только 19 ст. стилия, и таким образом это необычное запоздание должно быть приписано исключительно действию почты. Я писал также Владимиру от 7 февраля н. ст. и адресовал это письмо в „Пустой рынок“, не зная точного адреса брата. Я надеюсь, что это письмо дошло до него и рассчитываю на его дружбу и образцовую аккуратность в исполнении поручения, которое я ему даю к Дубельту. Я нахожусь в полном неведении относительно судьбы моего отпуска, срок которого истекает через несколько недель и может поставить меня в необходимость выехать немедленно, если в продлении, о котором я прошу, мне будет отказано; но даже в случае если для меня окажется необходимым этот последний, очень неприятный исход, мне все-таки нужен какой-нибудь ответ, а до этого — я как рак на мели! Мы живем очень спокойно и мирно среди политических волнений, которые нас окружают. Правда, что если послушать людей запуганных, мы спим на вулкане; на это я им отвечаю, что когда на бале у принца де-Линь, за три дня до событий, повторяли знаменитое изречение „мы танцуем на вулкане“, они только презрительно пожимали плечами, и что тогдашнее их ослепление вовсе не дает им права представлять теперь из себя каких то ясновидцев. Пока наши соотечественники уезжают во множестве: Эммануэли и Витгенштейны покинули Париж в прошлый четверг, Кочубеи и Пушкины отправляются завтра и т. д. Английское посольство со времени кануна смуты выдало 22000 паспортов. Эта эмиграция является, быть может, самой большой опасностью для настоящего положения. Потребители уезжают и производители оказываются без работы и хлеба; это — самое важное в политическом и социаль-

ном кризисе. Самое несомненное в теперешнем положении, которое в общем неясно, это — то, что республика была лишь случайностью и вовсе не причиной ужасного кризиса, который разрушает страну. Финансовый кризис все равно рано или поздно наступил бы в результате расточительности прежнего правительства и огромных злоупотреблений, которые оно допускало по источникам кредита. Что же касается вопроса организации труда и улучшения судьбы рабочих, то кризис уже давно подготовлялся в низших слоях общества, где он породил собою коммунизм, это преступное сумасбродство, которое сделало бы невозможным всякое общество, если бы дело дошло до осуществления его абсурдных мечтаний. Трудность момента заключается в том, что классы — победители требуют решения благоприятного и немедленного; конечно, решение должно быть благоприятно, но оно не может быть немедленным; эти преувеличенные требования, может быть, повлекут за собою частичные катастрофы, но люди заинтересованные — я уверен, кончат тем, что поймут свои настоящие интересы, и эти жгучие вопросы могут только выиграть в открытых спорах гораздо больше, чем в притонах тайных коммунистических обществ, которые свили там свои гнезда при старой власти. Клубы! Это слово заставляет содрогаться каждого, как бы он ни был крепок нервами. Их уже 34 открыто в самом Париже; я думаю, что это число должно подействовать даже успокоительно, потому что оно предполагает их раздробленность; в иных из них название и воспоминания пугают больше, чем самое дело. Все эти клубы не якобинские ненавистной памяти, конечно, не говоря уже о нашем Жокей-клубе и об Английском клубе в Петербурге, членом которого, говоря между прочим, я надеюсь быть этой весной с помощью добрых услуг Аркадия и Владимира. Представьте себе: миллионы, отложенные Луи-Филиппом в Англии, никогда не существовали и впредь до возвращения ему его частного имущества он располагает лишь 12000 франков дохода! Тьер, с которым я говорил об этом, уверяет, что это правда, „потому-что — прибавил он — несмотря на его скупость я никогда не видел более плохого управителя, чем этот ужасный болтун“. К тому же, он был человек старой школы и терпеть не мог помещать деньги в ценных бумагах; он вверялся только земле, а именно земли то ему и оказалось недостаточно. Во вторник мы были в „Varietés“, чтобы посмотреть на Буффэ, всегда прелестного среди детей его труппы, в четверг — Рашель, возвышенная в своих „Горациях“. После трагедии она спела или вернее продекламировала „Марсельезу“. Одета в развевающуюся тюнику, опоясанная трехцветным поясом, бледная и дрожащая как античная волшебница, она оставила впечатление, которое никогда не изгладится. В четверг вечером мы были у m-me де-Шатеней и у Аппони; супруга посла вернулась к своему прежнему благодушию. В пятницу Аврора

была именинница. Я узнал об этом от нее лишь накануне вечером, тем не менее я имел время приготовить ей к ее пробуждению огромный букет и великолепное бархатное платье цвета „далия“. К обеду у нас были супруги Лагрэнэ, а вечером мы были у Тьеров, где, по своему обычаю, я принялся за хозяина дома; он еще точно не решил, уедет ли в свой прежний округ (département) или останется в Париже как кандидат Национального Собрания. Утро субботы было посвящено частью еженедельному испытанию Павла, доставившему нам большое удовольствие — география, латынь, грамматический разбор; его юный ум делает быстрые успехи, и новый его наставник в восхищении от него. Вечером мы были у Итальянцев и оттуда у ште де-Жиарден (Александра), которая, в качестве легитимистки, смотрит на вещи гораздо благоразумнее, чем дамы и даже мужчины старого режима.

3/15 марта. Среда

(Продолжение того же письма)

[№ 52]

Я исполнен величайшей радости, дорогая матушка. Мое беспокойство не имело оснований; я получил вчера ваше письмо от 20 февраля ст. с., и плутовка Софья обещает в скорости мне другое письмо; это обещание радует меня тем более, что, надеюсь, письмо это будет мне адресовано прямо в Париж, тогда как следующие письма должны будут дойти до меня уже из Франкфурта согласно указаниям, которые я вам дал, что разумеется должно замедлить их получение. Сегодня Аврора получила письмо от своего брата, писанное под впечатлением первых новостей и все пропитанное страхами и опасениями за нас; это дает мне мерку ваших беспокойств, и я очень радуюсь тому, что держал вас в курсе всего происходившего. Я получил также очень любезное письмо от ген. Дубельта, который сообщает мне, что мой отпуск продлен до 1 сентября, как я и просил об этом. Так как, судя по обороту, который принимают дела в этой милой Германии, которую вы так любите, война слава Богу невозможна, то я полагаю, что военные, находящиеся в отпуску, не будут призваны и что я могу совершенно свободно полечить свою печень. Я улыбался, читая в вашем письме, что Тютчев считает меня находящимся под влиянием Тьера; я мог бы ему с гораздо большим основанием сказать, что он находится под влиянием Гизо: я же могу похвалиться, что был под влиянием лишь моего собственного суждения, когда, вопреки самодовольству людей старого режима, я считал положение правительства очень опасным. Что же касается династической оппозиции, главой которой был Тьер, то я относился к его поведению в этом вопросе с глубоким неодобре-

нием, доказательством чего является мое письмо к вам № 45, и я всегда думал, что этот образ его действий был производим без учета дел той партии, которая находится в настоящее время у власти; что же касается этой партии, то я был далек от предположения, что ее победа так близка и так легка, но я никогда не сомневался, что будущее Франции принадлежит ей. Касательно лично Тьера, я продолжаю утверждать, что в смысле парламентского управления это — человек самый способный во Франции и что ему еще предстоит сыграть важную роль в истории своей страны. Циркуляры Ледрю-Роллена внесли снова страх в среду робких людей, которые только что начали понемногу оправляться и смелеть. Этот г. Ледрю и его мероприятия сразу заставляют в себе чувствовать 93 год, но я твердо продолжаю верить, что опасность лежит в страхе людей умеренных и никак не в преувеличениях экзальтированных. Надо сначала взвесить положение и потом действовать смело — тогда все пойдет хорошо. Трудность заключается в том, что столько людей боятся быть смелыми! В Париже имеется 18 новых газет; наиболее безрассудной является „Le peuple constituant“, редактируемая Ламменэ, потом идет „La voix du peuple“ Распайя — камфоромана. Однако этот последний сделался немного благоразумнее с тех пор, как депутация от школ предупредила редактора, что он подвергнется суровому наказанию, если не изменится к лучшему. Ламартин и школы спасли Париж и Францию: это — факт, который признают все партии. Не является ли замечательным то обстоятельство, что два исторических случая преданности членам королевской семьи принадлежат двум депутатам очень левой оппозиции г. de-Mornay и г. de-Lasteurie? Первый сопровождал герцогиню Орлеанскую за пределы Франции, а второй нашел и доставил в Англию герцогиню де-Монпансье — действительно оказывается, что друзей в несчастии надо искать не среди льстивых приятелей счастливого прошлого. В воскресенье после обеда мы не выходили из дому и провели с Авророй весь наш вечер наедине в чтении друг другу небольших рассказов Мериу, чтобы дать некоторый отдых нашим головам, перегруженным политикой. В понедельник у нас были к обеду Киселев и Нюманс, а вечер провели у Кочубеев, которые вчера уехали в Лондон. Вчера мы были в Varietés с супругами Лагренэ, а потом они пришли к нам пить чай с Эдвардсом из английского посольства... (приветствия и поклоны). Мы с нетерпением ожидаем подробностей о том, какое впечатление события произвели у вас и если, как я думал, письма мои прочитаны были раньше вас, то постарайтесь узнать отзывы о них; я же лично считаю их очень благоразумными.

Наконец, милая и дорогая матушка, я получил ваше письмо от 25 февраля, которое вы, в вашей просвещенной заботливости, направили прямо в Париж, что доставило его в мои руки на два дня раньше, чем письмо от Софьи, которое я только что получил из Франкфурта. Да, дорогая матушка, милые сестры и братья, мы отгадывали ваше беспокойство и в смутные дни мы писали вам ежедневно. Я прекрасно знал наперед, что мои письма будут читаться на почте, но я не понимаю почему их читали настолько медленно, что доставка по адресу замедлялась на 3 или 4 дня; вы получили мое письмо от 23 февраля н. ст. только 25 февраля ст. ст. — 14 дней: это неприлично! Я не понимаю, почему Софья находит свое письмо смешным: я читал его с самым живым интересом и в особенности часть политическую и парижскую. Да, дорогая сестра, после того, как я был свидетелем последних событий, ничто меня так не интересует, как рассказ о впечатлениях, которые эти события производят у вас, и о суждениях, которые о них ведутся. Сожаления, которые тебе внушает падение экс-короля (как теперь его называют) и Гизо, вызывают у меня улыбку. Наполеон войны остался великим и на своей скале св. Елены, Наполеон мира имеет в моих глазах вид злого и жестокого банкрота, обратившегося в бегство. Поскольку дело шло об избирательных или парламентских интригах, Луи-Филипп проявил ловкость, и так как он был королем, то его называют великим, но перед событиями „маска падает, — человек остается и герой исчезает“. Да и какой еще человек! Говорят, что люди с сердцем из семьи Марии-Амелии, королева Бельгийская, принц де Жуанвиль менее оплакивают падение их фамилии, чем ту постыдную форму, в которую облечено было это падение. Луи-Филипп сел в карету, чтобы бежать на площадь Согласия, почти к месту, где возвышался эшафот Людовика XVI. По этому случаю одна маленькая газета говорит так. Последние слова, сказанные Людовику XVI, были: „сын св. Людовика, подымайтесь на небо!“, между тем как Луи-Филиппу было сказано: „сын равенства, садитесь в карету!“. Но, виноват, я впадаю в пустословие! Зачем еще говорить о такой устарелой вещи, как февральская революция, когда столько других событий привлекли на себя внимание, когда Вена, это знаменитое отечество пива, колбасы и вальсов, имела также свое торжествующее восстание, своих „славных“ (glorieuses), совершенно как и другие! Прямо как во сне, честное слово! Вчера здесь распространился слух, что в Берлине с монархией все покончено, но этому никто не верит. Хотя эти события, значительно приблизившиеся к нашим границам, угрожают как будто и нам, однако я думаю, что они имеют для нас

и хорошую сторону — именно сделать невозможной самую мысль о вмешательстве нашем в Европе для поддержания дела, которое даже сами представители его малодушно предают или защищают его безо всякого воодушевления. Все эти потрясения и волнения в Западной Европе только пролагают и расширяют указанную провидением дорогу, пройти которую суждено и нашему дорогому отечеству. Австрия и Пруссия, проходя этот революционный путь, сами сокрушают звенья той роковой цепи, которая соединяла нас с ними политически. Теперь Россия, свободная от подобных движений, снова займет в Европе свое естественное положение спокойной наблюдательницы ее партийных раздоров, проявляющихся на западе, и сосредоточит свое внимание, свои симпатии, свои силы на то, чтобы создать вокруг себя этот славянский мир, который в своей примитивной простоте может быть уже нашел разгадку вопросов, которые Европа уже столько веков тщетно пытается разрешить в крови и разрушении! Последние события в Австрии придали славянским идеям большую политическую и в то же время спешную важность. Мне кажется, что уже больше нельзя питать иллюзий: Австрия долго не проживет, и славянские элементы, которые составляют в ней большинство, должны будут обрести от элемента немецкого; это образование славянского элемента в политическую единицу будет или за нас или против нас — надо будет сделать только выбор между тем или другим. Да просветит бог тех, которые нами управляют! Несмотря на то, что здесь порядок в материальном смысле не был нарушен, умы очень далеки от уверенного спокойствия: в течение этой недели по случаю демонстрации, устроенной национальной гвардией, и контр-демонстрации, которая была ею вызвана на другой день со стороны рабочих и клубов, было даже обнаружено усиление страха и отчаяния в лагере трусов — ведь почти все, кто одет и кто чем-либо владеет, принадлежит к этому лагерю. Может показаться, что вся энергия нации перешла в низшие классы, тогда как другим остается только вздыхать и склонять голову перед катастрофой, которую они предвидят без намерения ей помешать и предупредить ее смело и решительно. Это малодушие умеренных элементов, которое было уже причиной всех ужасов 93 года, является, я полагаю, самым плохим симптомом настоящего положения; поведение народа до сих пор изумительно по своему благоразумию и умеренности, но если дело дойдет до того, что он закусит удила, то не встретит никакого серьезного сопротивления, никакого отпора — национальная гвардия деморализована. В день протеста национальной гвардии против Ледрю, мы с Авророй пешком сопровождали эти войска, которые шли по набережным к ратуше; в расстоянии сотни шагов от их конечной цели они были остановлены огромными массами народа, которому внушили убеждение, что это движение национальной гвардии было контррево-

люиционным и монархическим; мне показалось, что дело должно тут дойти до столкновения и так как при этом пошел дождь, то я посадил Аврору в кабриолет, а сам остался, чтобы посмотреть, чем кончится дело. Толпа увеличивалась, угрожающие звуки марсельезы разносились над этим взволнованным человеческим морем; чтобы избежать кровавого конфликта, национальная гвардия принуждена была повернуть в сторону, не дойдя до ратуши; на другой день 50000 (а по газетным сведениям даже 200000) рабочих и клубистов устроили контрвыступление и выразили свою солидарность с Ледрю-Ролленом — их уже никто не остановил по дороге! Весь день эта огромная масса народа проходила по улицам города, который невольно дрожал при разноголосых звуках их песен, и не смотря на это не произошло ни одного эксцесса. Аврора одна в карете, с кучером и лакеем в ливрее, была остановлена на Вандомской площади отрядом этих господ — и что же? ни одного слова, ни одного оскорбительного или неприятного взгляда не было допущено по ее адресу. В течение этих двух дней национальная гвардия была деморализована, ослаблен Ламартин, усилился Ледрю-Роллен, и совершенно разбиты надежды тех, которые, быть может, мечтали о реставрации регентства в помощь национальной гвардии, большинство которой впрочем не республиканское.

11/23 марта

(Продолжение того же письма)

[№ 53]

То, что я вам писал позавчера, устарело на целый день, а по теперешним временам один день — это целое столетие. Что такое для нас парижская революция в сравнении с невероятными событиями, которые развернулись почти у наших границ в Вене и Берлине? Я говорил о славянском вопросе; он очень близок к разрешению, но я боюсь, что не в нашу пользу. В самом деле, национальность, которую мы бы могли им дать, они завоевали и к тому еще всякого рода свободы, которые они вырвали у издыхающего правительства Австрии. Мы будем иметь теперь свободную польскую прессу в Львове и в Познани, польские полки вдоль наших границ под командой польских офицеров: какой продолжительный мир может быть с подобными элементами, особенно если, при поддержке Берлина, к ним присоединить еще партию, которая нам систематически является наиболее враждебной? Я уверен, мы не потеряли мужества, мы будем одно сердце, одна душа и миллионы рук! После всего этого, если даже вся Европа поднимется против нас, то они не окажутся более многочисленными, чем в 1812, да еще без Наполеона. При их приходе мы издали крикнем им: „есть место вам в полях России среди нечуждых вам гробов!“ Я не могу утешиться, что я теперь

не в России; я думаю и мечтаю лишь о способе вернуться туда как можно скорее. Если бы я был один, я бы отправился одновременно с этим письмом — всякий честный русский должен быть на своем посту. Поскольку дело касалось Франции или даже Германии в ее внутренних отношениях, я оставался совершенно равнодушен, но теперь дело доходит до нас и перед иностранцем я чувствую себя достойным преемником русских 1612 и 1812 годов. Лагренэ, который только что был в министерстве иностранных дел, принес нам известие, что итальянский флаг развеивается в Милане; но это только мелочи. Пребывание в Париже очень печально; к нашим услугам только театры, которые мы посещали очень часто; что касается общества, то его больше нет, и немногие салоны, где еще иногда можно встретиться, являют похоронный вид, способный навести сплин даже на людей с наилучшим расположением духа. Нужно в самом деле иметь большую эластичность в душевном настроении, которой мы оба с Авророй обладаем, чтобы сопротивляться заразе отчаяния и страха, какие нас окружают. Говорят, что гильотина террора не изменила веселости французского общества; если это действительно так, то потопки жертв 1-й революции дьявольски подверглись вырождению, потому что хотя не имеется в виду никакой гильотины, однако все они имеют такое настроение, как будто приговорены к смерти. „Почему же вы не покидаете Париж?“ спросите вы меня. Вот — секрет, который я хочу вам доверить. Аврора, прельщенная примерами чудесного исцеления, проделанного здесь неким г. Quinquelin (Künckel), доверилась ему и для начала совершенно обрила себе голову: через год ей обещана роскошная шевелюра! Лечение продолжится приблизительно две недели, после чего мы рассчитываем отправиться в Лондон; я говорю „мы рассчитываем“, потому что со вчерашнего дня у меня нет другого желания, как вернуться домой, и я ожидаю событий. Если бы через Германию оказалось невозможным проехать, то нам оставалось бы только ожидать в Лондоне открытия навигации. Ужасающий финансовый кризис Франции действует на других. Ротшильд платит нам билетами, из которых самые мелкие теперь в 50 франков, отсюда неслыханная трудность оплачивать счета; золото вне установленной цены, и в первые дни за наполеондор платили до 25 фр.; что же касается серебра, то его совсем нельзя найти... *(в конце приветствия домашним).*

XVI

[№ 54]

Париж, 16/27 марта 1848

Дорогая матушка, Балабин вернулся два дня тому назад; я его видел почти при самой высадке и чуть не бросился

к нему на шею, когда он передал мне письма от Софьи и Александра. Однако они помечены датой две недели тому назад, а я надеялся получить письмо от вас, милая матушка, сегодня, но ожидание мое не оправдалось: надо с этим примириться. Одному богу известно, чего стоит мне это примирение, когда я переживаю настоящую лихорадку, от нетерпения иметь новости о вас всех — в первую голову от семьи в тесном смысле, а потом от великой русской семьи вообще. События, случившиеся в Вене и в Берлине, в значительной степени лишили интереса те новости, которые мог сообщить мне устно Балабин: какая разница между возможностью отдаленной войны, которую может нам принести столкновение в Ломбардии, и близкой опасностью, которая фактически угрожает нашим границам и той изолированностью, в которой мы теперь находимся перед лицом всей Европы, охваченной против нас восстанием. Впрочем, со времени моего последнего письма я размышлял об этом, и полагаю, что наше положение может оказаться очень хорошим, даже лучше прежнего, но это уже — общие соображения, которым не место в письме и которые я откладываю до будущего, чтобы развить их в семейном кругу в уютном уголке малиновой гостиной, у камина, где я вскоре надеюсь занять свое место! Возвращаюсь к вашим письмам. Похвалы, которые расточают мне Александр и Софья, мне очень приятны; если часть их отнести на счет братской любви, то все-таки мне есть чем гордиться из того, что говорит мне Александр, и со своей стороны я счастлив узнать его благородное сердце и его ум, направленный к великим вопросам, которые волнуют в данный момент человечество. Мы до упаду смеялись при рассказе о глупых страхах Тютчева. Я так смеялся, что потерял всякую возможность сердиться на обиду против меня, заключавшуюся в его подозрениях, будто я говорю неправду о спокойствии и безопасности, которыми мы наслаждались в Париже. Передайте ему от меня, пожалуйста, что я узнаю в нем одного из тех бесчисленных алармистов и трусов, разглагольствования которых я слышу здесь во всех легитимистских гостиных или пожалуй еще из той семьи трусливых умов, которым нравится только теория, которых пугает всякое действие и которые отступают перед своей собственной идеей и отрицают ее, как только с уст невинных завсегдаев парламентской болтовни она спускается в факты, в практическую жизнь. К досаде г. Тютчева мы продолжаем пользоваться здесь полнейшей безопасностью; что же касается спокойствия, то оно как-то не восстанавливается. Вечные выступления, демонстрации, протесты без конца. По улицам постоянно ходят многочисленные процессии рабочих с трехцветными знаменами и барабанами впереди. Треск этого несчастного барабана раздается как похоронный звон в ушах нервных людей и наполняет их душу страхом и отчаянием. Кредит также не восста-

новляется, серебра нет в обращении, а золото вне всякой цены, и народная бедность все возрастает. Как я уже вам говорил, неизбежность финансового и промышленного кризиса составляет в настоящее время большую и грозную опасность. Пока мы продолжаем вести тот образ жизни, о котором я вам говорил в моем последнем письме, мы выходим только по вечерам для посещения театров и, вернувшись в полночь, иногда видим в нашей гостиной Лагренэ, Ньюманса, Эдвардса и других. Вчера у нас обедали Балабин и Абаза и при первой же политической дискуссии с вашим протеже мы чуть-чуть не вцепились друг другу в волосы. Вечером мы отправились к Тьерам; я много говорил с ним, но увыл он также выброшен из колеи, смят и ошеломлен событиями! Граф Сен-При, который был там, также сказал мне, что Тьер в этот вечер показался ему какой-то старой кухаркой: эти люди уже использованы и для нового положения нужны новые лица. В один из вечеров мы посетили Аппони: вы видите, что мы еще поддерживаем с ними связь в их несчастье. Графиня смягчилась теперь более, чем когда-либо; вид у них менее угнетенный, потому что если с одной стороны они теряют Италию, то с другой как будто венское правительство вышло из этой истории более дешевой ценой, чем другие. Вы вместе с нами будете удивляться твердости, которую обнаружил Ламартин по отношению к польской депутации: эта твердость заслуживает тем большей похвалы, что в то время как он давал депутации свой ответ, о котором вы читали в газетах, 20000 клубистов, собравшихся на площади ратуши, готовы были подтвердить своим присутствием требования поляков. За день до этого другая польская депутация явилась во дворец министерства иностранных дел и, введенная к Ламартину, также требовала помощи оружием и деньгами. Ламартин отказал; тогда один из депутатов воскликнул: „если временное правительство отказывает нам в оружии, то мы свергнем временное правительство!“ — „А, вскричал Ламартин, если Франция дошла до такой степени унижения, что достаточно горсти иностранных крамольников, чтобы опрокинуть правительство, которое она себе создала, то пришлось бы впасть в отчаяние за ее судьбу, но ничего этого нет, и мы вас не боимся! Вы клевете на Польшу, называя себя ее представителями, вы только ее пена!“ На эту именно оценку, о которой газеты не писали, делает намек польский депутат, который принес свои извинения Ламартину. Париж испещрен кокардами всех цветов — германскими, бельгийскими, польскими, итальянскими. Чтобы отправиться я жду только известий о том, каким образом берлинские события приняты у нас. Если (от чего боже упаси!) на нас немедленно опрокинется интервенция и будет объявлена война с Пруссией, то возвращение по суше нам закрыто и придется ожидать навигации. Если же ничего нам не помешает и с божьей помощью мы решимся поехать через Гер-

манию, находящуюся в огне, чтобы вернуться домой через Ковно или Варшаву, то в этом случае мы могли бы выехать в следующую субботу 8 апреля и через две недели были бы в ваших объятиях.

Итак, если ничего нового не произойдет, то по получении настоящего письма больше мне не пишите — разве что сделаете любезность черкнуть несколько строк по адресу нашего посольства в Берлине. У меня теперь нет ничего на сердце кроме возвращения, и в течение дня у меня только три момента: газеты утром, газеты после полудня и газеты вечером... *(приветствия)*. Сегодня отправляется в Берлин Каменский и я его просил написать мне немедленно. Анатолий написал Авроре с целью удержать ее от путешествия в Италию в виду важных событий. До свидания, мои дорогие. Аврора, в настоящее время занятая предстоящим отъездом, намерена закончить свой курс лечения. Революционные войска все время уходили по разным направлениям, а пока газеты, конечно, оповестили вас о смешной катастрофе, приключившейся с революционным отрядом Бельгии.

18/30 марта

(Продолжение того же письма)

[№ 54]

Наконец, дорогая матушка, я только что получил ваше письмо от 6—8 марта ст. с. Я вам очень благодарен за счастливую мысль направить мне это письмо прямо в Париж. Однако я не хочу от вас скрыть того, что письмо ваше, успокаивая меня на счет драгоценного здоровья всех вас, озадачило меня отсутствием каких бы то ни было новостей общего характера. Вы мне неопределенно говорите о противодействии европейским событиям, о страхах и беспокойствах, но вы не уточняете вопроса, так что мое измученное и возбужденное воображение разыгрывается вовсю; с другой стороны, я невольно улыбнулся на ваше желание сообщить мне о венской революции — событии, совершившемся уже две недели тому назад и о котором никто больше не говорит, так как с того времени произошел уже добрый десяток других революций. И еще Софья имеет смелость говорить мне в своем *post-scriptum*: я надеюсь, что вы не жалуетесь больше на наше молчание! Почему? Да потому, что она написала три строчки с Балабиным, тогда как вы жалуетесь на мое молчание, когда я посылал вам целые тома! И потом о чем же хотите вы, чтобы я вам писал? У меня нет другого интереса, как знать, что происходит у вас, нет другого желания, как вернуться в Петербург.

Политические интересы помешали мне до сих пор сообщить вам о тех невинных радостях, которые нам, северянам, доставляют прелестные небеса юга. Представьте себе, дорогая матушка, что вот уже почти неделя, как у нас вместо весны наступило великолепное лето, которым мы и наслаждаемся. 18 градусов тепла в тени, яркое солнце, свежая зелень! Старые липы и каштаны Тюильри оделись уже в свой блестящий летний наряд; это внесло уже некоторую перемену в обиход нашего дома. Мы проводим время уже не на верху, но в больших комнатах внизу: тут мы у открытого окна, украшенного горшками роз и помёранцев, которые маскируют не совсем изящный вид противоположной стены и своим опьяняющим ароматом дают иллюзию Италии, пьем утренний кофе, а по возвращении из театра пьем еще наш вечерний чай. Как вам нравятся эти открытые окна ночью в марте месяце? Я был приятно удивлен на этих днях очаровательным письмом Владимира, которому я немедленно буду отвечать. Сегодня или завтра я ожидаю письма от вас, и оно вероятно решит вопрос о нашем отъезде, так как, я надеюсь, оно принесет нам новости о том, каким образом берлинские события были приняты в Петербурге. Лишь бы только не было немедленно войны, а то мы рискнем и, не дожидаясь навигации, что задержало бы нас по меньшей мере на целый месяц, попробуем проникнуть в Россию через Пруссию среди бушующих волн революции. С тех пор, как я вам писал, Париж спокоен, его вид сделался даже лучше: меньше манифестаций, меньше барабанов и больше ружейных выстрелов и петард. В последнем письме моем я забыл вам сказать о насаждениях на всех уличных углах „деревьев свободы“; это обратилось в совершенную манию: насаждали везде; после церемонии насаждения толпа становилась вокруг дерева, пели и пили, а вечером стреляли из ружей и бросали петарды в таком изобилии, что бывали моменты, когда можно было подумать о происходящем общем сражении на улицах. Я вполне убежден что „материальный порядок“ здесь обеспечен, но что касается „морального порядка“, то он не может быть установлен среди неизвестности будущего, неожиданных перемен и опасений в настоящем: господствует финансовый кризис, фонды падают и котируются по курсам, которые в своем снижении перешли уровень 1814 г. Если это продолжится, то Франция умрет от нищеты... , но к счастью это „если“ невозможно допустить, не отчаявшись в провидении и в будущей судьбе человеческого рода, и это „если“ кладет различие между алармистами и другими: первые покоряются перед грядущим, тогда как вторые употребляют все усилия к тому, чтобы ему помешать. Сегодня — для Парижа

большой день: происходят выборы командиров 13 легионов, и эти выборы, в которых принимают участие те же лица, которые будут выбирать в Национальное собрание, имеют большое политическое значение. Несмотря на эти события, город совершенно спокоен; я прошел его пешком в разных направлениях и не заметил никакого волнения, но истинным мучением для ушей хотя бы немного чувствительных являются эти несчастные мелодии Марсельезы и песни Жирондистов, которые в самых разноголосых тонах раздаются всегда и повсюду. По утрам на улицах — отдельно кучки людей, процессии, уличные мальчишки, шарманщики, рыли савояров, дудки слепцов; по вечерам, в театрах наступает очередь оркестров и актеров. Даже домашний очаг не является убежищем от этого преследования слуха, потому что как раз в то время, как я вам пишу, из моего окна, которое выходит на внутренние сады и дворы, я слышу попеременно то неясные звуки Марсельезы, исполненные на фортепиано какой-то неопытной рукой, то песню, которую завывает охотничья труба какого-то любителя, не говоря уже о том, что через кухонную отдушину я слышу от времени до времени напевание нашего повара. Эта смесь республиканских мелодий затрудняет даже вызов экипажа при выходе из театра благодаря отсутствию всякой полиции — единственное отличие, внесенное новым режимом во внешнюю физиономию Парижа. Можно отметить еще уничтожение ниш в стенках карет, отсутствие изящных туалетов на прогулках в Елисейских Полях и на бульварах, но это менее бросается в глаза. Однажды явилась в ратушу одна из бесчисленных депутаций, которые мешают работе временного правительства и своими праздными речами к министрам отнимают у них драгоценное время; один из членов правительства только что хотел отвечать, как оратор депутации, настоящий блузник, прервал его, указывая на Ламартина: „не вас, не вас, я хочу вот этого высокого и худощавого — он врет лучше!“ Острота имеет глубокий смысл в этой прекрасной Франции, стране вранья по преимуществу, где всякий, кто лучше врет, имеет верх над тем, который может быть делал бы свое дело лучше.

6 апреля

(Продолжение того же письма)

[№ 55]

Милая и дорогая матушка, я получил ваше письмо от 5/27 марта. Мне было очень грустно и я сожалел о том, что дал вам повод к беспокойству. Очень благодарен вам за присылку манифеста и письма от Жуковского. Это письмо доставило мне тем большее удовольствие, что оно несколько искупает корреспонденцию из Парижа, помещенную в „Северной Пчеле“ и переведенную

здешними газетами; она заставила всех нас краснеть своим тоном кабака и передней. Я подозреваю тут г. Греча, который, говорят, был ужасно испуган и скрылся отсюда, как только написал эту достойную его корреспонденцию. К несчастью, вы мне ничего не говорите о том, что рассчитывают делать у нас, и это меня ставит в неизвестность, на что решиться в смысле нашего отъезда. Можем ли мы, при настоящем положении вещей, рискнуть проехать через Пруссию? Вот вопрос. На этот вопрос я ищу ответа в целом море газет, в котором я ежедневно купаюсь, но известия так противоречивы и так мало вероятны, что я не знаю еще, на что мне решиться, и жду. То, что вы говорите о патриотической и консервативной манифестации Английского клуба и единодушном порыве, воодушевляющем петербургскую молодежь, доставило мне большое удовольствие: в минуту опасности должно и может быть в России только одно чувство, один способ смотреть на вещи; только по одному спасительному знаку познается нация будущего, и по этому знаку мы победим! Чем более я наблюдаю события, тем больше нахожу, что Россия безусловно победит, оставаясь терпеливо в своей мощи и оставляя Германию вариться сколько ей угодно в своем собственном революционном соку; уже слышатся многочисленные голоса, которые, с германской точки зрения, протестуют против восстановления независимой Польши. Ненависть к славянам в германских сердцах приводит их к сочувствию революции и к ненависти против русских и, читая их бешенные нападки на нас, трудно представить себе, до какой степени эта ненависть ужасна. Подождем еще немного, между нашими врагами начнется борьба, а тогда—кто знает? эти разделенные между собою дети одной семьи, эти братья по крови, которых история вооружила против нас, сами придут к своей общей матери и, стряхнув несчастное прошлое, предложат нам пойти вместе против смертельных врагов их расы, против их вековых угнетателей, против ненавистных немцев! Пусть бы так было! Выборы командиров, по общему мнению, прошли удачно: избранные в общем держатся умеренного республиканского образа мыслей и являются залогом здравого умонастроения, которым воодушевлено население Парижа. Вчера мы были у Аппони, где я узнал, что большая революция вспыхнула в Бразилии, — замечательное и не очень приятное совпадение для герцога Омальского, — и у m-те Нарышкиной. Сегодня вечером мы приглашены к m-те де-Бомон, и завтра, чтобы вознаградить Павла за двухнедельное хорошее поведение, мы берем его в театр. Паспорт г-на Роже визирован в русском посольстве, его въезд в страну не представит для него никаких затруднений; впрочем, я уже говорил вам об его политических мнениях: они ничего не оставляют желать — это умеренный легитимист. *(В конце письма приветствия членам семьи).*

Мы уезжаем сегодня вечером в 8 часов под прикрытием ночи, дорогая и милая матушка; через две недели мы надеемся быть в ваших объятиях. Сегодня утром я имел еще утешение получить ваше письмо от 23 марта с хорошей новостью об отсрочке отъезда Александра; я не сомневаюсь, что, зная из моих последних писем о предстоящем нашем приезде, он подождет нас в Петербурге, и я смогу всех вас прижать к моей груди. Завтра вечером мы ночуем в Кельне, послезавтра в Ганновере; откуда, оставивши наши экипажи, мы по железной дороге сделаем экскурсию в Плон, через Гамбург, чтобы повидаться с Адиной, которая, кажется, примирилась уже с необходимостью переселиться со своим мужем в Португалию. По возвращении в Ганновер мы будем продолжать по железной дороге наш путь в Берлин и оттуда с почтой отправимся на Ковно. Вот — краткое резюме наших дорожных планов. Будьте добры сообщить Эмилию о предполагаемом времени нашего приезда между 18 и 25 ст. с. Я тороплюсь, так как вот уже два дня у меня голова идет кругом от тысячи мелких вещей, которые надо сделать, и от тысячи больших счетов, по которым следует уплатить. Думая о счастливом свидании, я не имею охоты что-либо вам сообщать. Многие здесь тронули нас горячностью прощания, между прочим — добрая старушка m-me Рекамье, у которой я был вчера с прощальным визитом и которая очень опечалена тем, что Шатобриан, кажется, уезжает. В ужасную погоду мы посетили здесь Версаль и его музей. Прощайте, дорогая и обожаемая матушка, или вернее до свидания, до скорого свидания, потому что это письмо предупредит нас, быть может, всего лишь на пять или шесть дней... *(Приветствия членам семьи).*

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПИСЬМО Ж. ЛАГРЕНЭ К АНДРЕЮ НИК. КАРАМЗИНУ

Лиллон (деп. Somme), 5 июля 1848

Что бы мне сказать вам, мой дорогой Карамзин, такого, что вы не знали бы так же хорошо, как и я? К чему говорить об этих ужасных испытаниях, которым мы подверглись со времени вашего отъезда? Из газет вы знаете и могли читать на их страницах о различных перипетиях безумного движения 15 мая и об ужасном восстании в июне. Мы сами покинули Париж 14 мая в смутном ожидании событий, приготовленных на следующий день. Мы уехали не для того, чтобы избежать уличных волнений, но потому, что пребывание в Париже не согласо-

валось более с требованием экономии, которое было предъявлено нам обстоятельствами. С этого времени я мог присутствовать при печальных похоронах популярности Ламартина, и это было для меня, который давно искренно любил его, болезненным и душу раздирающим зрелищем. Как отнестись к человеку, которого обвиняли в трусости и подлости, когда я считал его лицом благородного характера, возвышенной души и горячего патриотизма! Но он питал глубокое отвращение к крови — и это его погубило. Он хотел сохранить для себя раз на всегда принятый отказ от всякой кровавой коллизии, от всякого намека на гражданскую войну, и, чтобы достигнуть этого невозможного результата, он вошел с собой в печальную сделку и согласился на обещания, которые позднее привели к ружейной стрельбе. Он поступил как те хирурги с нервной чувствительностью, которые, полагаясь на силу хирургического ножа, подвергают опасности жизнь, чтобы спасти один из членов тела. Тот, которого с энтузиазмом избрали почти два миллиона народных голосов, провалился теперь при всеобщем голосовании — и только немногие протестовали против этого в глубине своих сердец, во имя нескрытых намерений, но не отрицая однако же неосторожности действий и не претендуя оправдать неизвинительные факты. Случайное голосование Национального собрания (Assemblée) упразднило исполнительную комиссию, и это был очень важный момент: если бы прошли 24 часа еще, то я не знаю, что бы с нами случилось. Национальная гвардия была почти так же воодушевлена против правительства, как и против бунта: вполне понимая необходимость осудить второй, она боялась сделаться пособницей исполнительной комиссии и укрепить ту силу, которая стремилась поддержать анархию. Раз жертва была принесена Национальным собранием, порыв был единодушным, и вы не можете себе представить энтузиазм Парижа и провинций; в течение нескольких дней у Франции была одна душа, и какова бы ни была судьба республики, у нее будет день, который создаст для нее вечную славу. Ни мои воспоминания, ни вычитанное из книг не напоминает мне ничего подобного — это поскольку дело шло об основах общества, о цивилизации. Великие интересы семьи, собственности были просто шуткой: в этот крайний момент все разногласия, все расхождения были забыты; мнения, которые до сих пор далеко различались между собою, искренно подали руку друг другу, и я надеюсь, что от этих дней, столь скорбных и в то же время столь славных, поведет свое начало эпоха полного слияния всех правительственных партий. Все в один голос прославляют строгость, энергию и искусство генерала Кавеньяка, удивительным образом поддержанного его старыми товарищами по африканской армии. Ляморисьер совершил чудеса, и все те, которые видели его в течение этих четырех ужасных дней, не понимают, каким образом пули его пощадили. Он, Кавеньяк и еще один человек

были единственными военачальниками, которые вернулись целы и невредимы. Пять генералов были убиты или умерли от нанесенных им ран; все другие были ранены. Вы знаете состав нового министерства — социалистический элемент совершенно исчез, и вместе с тем три республиканца овладели властью. Тьер, хотя до сих пор и хранит молчание, однако имеет большое влияние на Национальное собрание. Я убежден со своей стороны, что последние события произвели на него самое благодетельное впечатление: теперь он твердо должен поверить в жизнеспособность республики, и ум, столь выдающийся своей логикой и такой способностью к управлению, как его, должен понять огромную силу, присущую народному правительству, которое опирается на сочувствие и волю, непосредственно выраженную нацией. Восстание на этот раз имело в своем распоряжении по крайней мере 50000 чел. и, может быть, 150000 ружей. Оно могло иметь против себя сначала не более 10000 чел. регулярных войск. Но Национальное собрание говорило от имени Франции, которая подняла свой голос как единое целое, как один человек. Вы понимаете, что для свидетелей революции 24 февраля тут было о чем подумать. К несчастью для себя, я не имел возможности принять активное участие в последних событиях. Мой мундир и оружие остались в Париже, и когда до меня дошла весть о восстании (это было 25, так как почта перестала действовать), осадное положение закрыло двери отсутствующим. Впрочем, мой батальон не был вызван для действий. Никто из наших не пострадал в борьбе, и только кое-кто из моих друзей был ранен. Пирэ вел себя как герой, Роже проявил мужество, можно бы сказать даже — рыцарскую неосторожность. С.-Пьер, один из наших партнеров в Жокей-клубе, получил легкую рану, сын Ремюза тоже. Траур везде в провинциях — Amiens, Reims, Reze, Nesles — все маленькие города вокруг насчитывают по несколько жертв. Эта кровь, пролитая за отечество, является залогом солидарности. Если, как я надеюсь, правительство поведет дело искусно, если после хорошего начала оно будет так же хорошо кончать, то мы решительно спасены, и будущее республики обеспечено — я говорю о республике умной, честной, с учреждениями широко демократическими, где с одной стороны поддержка приобретенных прав, а с другой постоянная и сильная защита народных интересов приведут к гарантии порядка и свободы. Если дело обстоит так, то за судьбы Западной Европы ни одной минуты не придется беспокоиться. Вы (т. е. русские) одни останетесь тем, что вы есть, и я от всего сердца признаю вместе с вами все то, что есть мудрого и основательного в вашем мнении. Вы имеете перед собою такое будущее цивилизации, которое вам свойственно, и специальные условия славянской расы не имеют ничего общего с условиями народов Запада. Пролетариат у вас неизвестен, а между тем в этом и заключается основ-

ная пружина всех революций, которые у нас были и которые нам угрожают. Вы стойте пока перед политикой, мы уже имеем дело с социализмом как таковым. Эти большие и страшные вопросы будут дебатироваться у нас при свете дня: они более уже не составляют, как прежде, исключительной собственности некоторых истолкователей, которые эксплуатировали их в интересах их любви или ненависти. Таким образом, благодаря свету публичности, можно будет отделить преувеличение от невозможного и отвратить опасности, которые легковерие масс связывало в будущем с той или иной „искомой величиной“ проблемы. С этой точки зрения выходит очень хорошо, что в Национальном собрании присутствуют П. Леру, Прудон, Л. Блан и их товарищи. Еще несколько речей с этой стороны — и нам нечего будет бояться последствий их учений. Что вы там говорили о смешной Наполеоновской комедии, которая в течение нескольких дней вознаградила нас за якобы — закрытие театров? Благодаря глупости своих противников, Луи Бонапарт сделался своего рода великим человеком и приобрел шансы на президентство в республике, но достаточно было дуновения бунта, чтобы обратить в ничто эту нелепую претензию: теперь уже более ничего не говорят о „гражданине Луи“. Брат принцессы Матильды вел себя с большим приличием и тактом в этих довольно деликатных сплетнях, и я от всей души поздравил с этим принцессу. После вашего отъезда мы ее видели много раз; мы ходили к ней за утешением после вашего отъезда, но в этом мы не имели успеха; ваш отъезд, последовавший вскоре после отъезда Марии Эстергази, оставил у нас пустоту, которая с того времени ничем не заполнена. Тем не менее это не помешало нам отдать справедливость превосходным качествам Демидовой, и я, со своей стороны, с тем большей готовностью приношу ей мою дружбу, что раньше я на этот счет был несправедлив. Она принимала к себе очень немногих, и мы почти всегда были с ней наедине. Все другие салоны мало-по-малу закрыты; остался только салон m-me de-la-Redorte, где по понедельникам собираются несколько верных друзей. Впрочем, я забыл m-me Тьер, собрания у которой никогда не были более многолюдны, чем теперь. Пятерное назначение ее мужа вознесло ее на самый верх. К ней стекаются со всех сторон, и салон ее совершенно изменил свою физиономию. Говорят, что Буже не двигается,¹ Геккерн-Дантес, занявший известное положение в Национальном собрании, также очень усидчив. Г-н Моле испускает глубокие вздохи возле m-me Kollergi и рассказывает о своей несчастной страсти при ее сочувственном эхо. M-me de-Boigne постоянно находится в Туре с канцлером; ей там очень скучно; а он смотрит на положение как философ. Вогюэ католический (le catholique)

¹ Игра слов.

представляет собою важную фигуру в Национальном собрании; La Rochejaquelein очень сожалел об окончательном падении Ламартина. Поццо в Брюсселе, супруги Бомон возле Тура, m-me де-Кантад (?) играет в комедии, Nieuwerkerke делает статуэтки.

Что касается лично нас, то мы живем здесь у старого дяди самой степенной и однообразной жизнью. Я не знаю, ни где мы окончим лето, ни когда вернемся в Париж. Мы даем уроки нашим детям, возвращаемся из наших продолжительных прогулок — чаще всего от наших друзей. Вы часто делаете честь нашим собраниям (т. е. мы о вас часто говорим); сохраните о нас добрую и сердечную память. Скоро исполнится год, как я встретил вас в Бадене; я благославляю этот счастливый случай и надеюсь, что когда-нибудь мы снова встретимся. Не передавайте никому управление вашими имениями в Финляндии: если я не поеду куда посланником, то поручите это управление мне. Прощайте, дорогой друг. Я низко кланяюсь m-me Авроре, целую Павла и от всего сердца жму вашу руку.